

K 84
M 22

Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК

РАССКАЗЫ И СКАЗКИ



ДЕТГИЗ

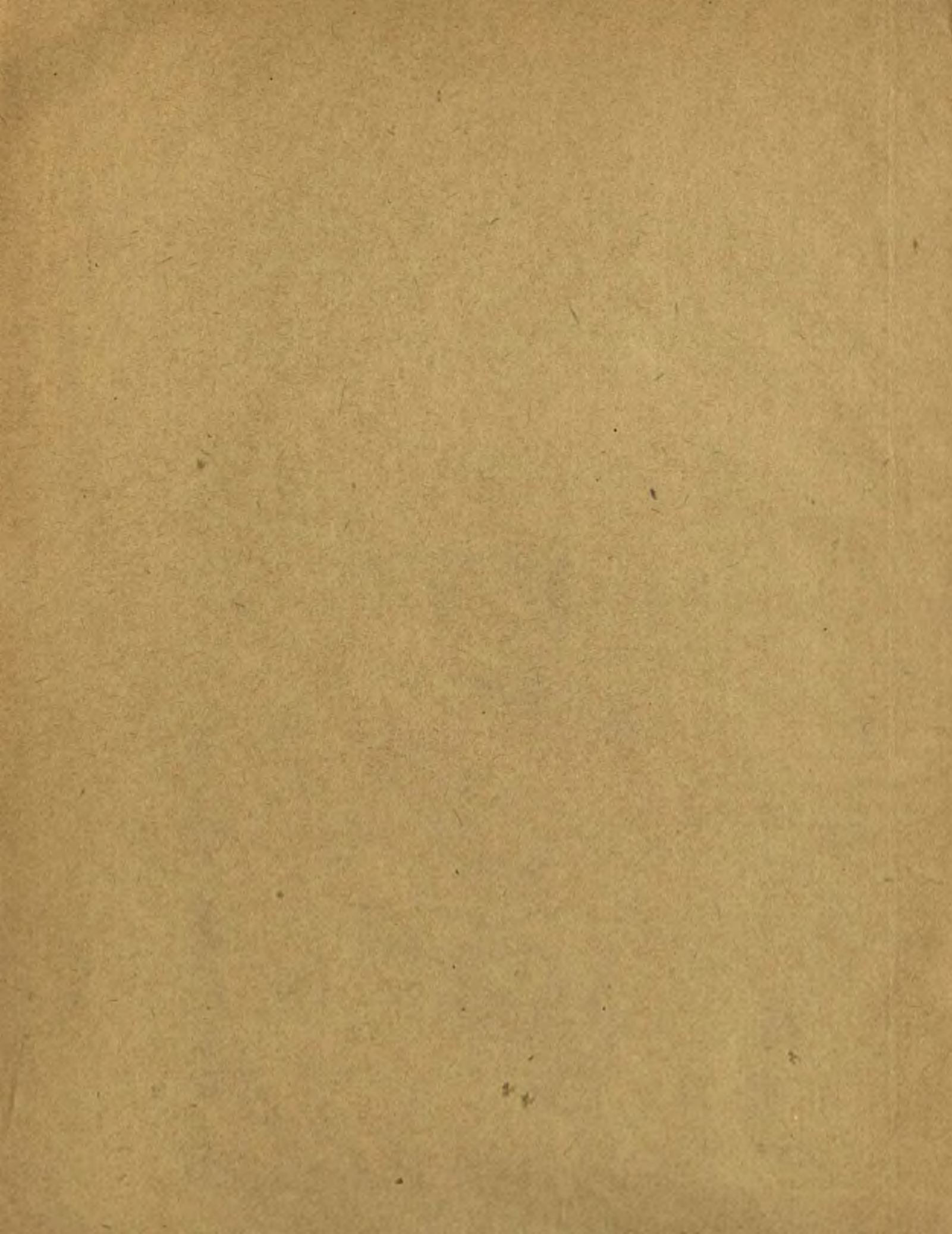
1945

143881

02

СОБД и Ю
Судел хранения

✓
a



Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК

К 84
М-22

РАССКАЗЫ И СКАЗКИ

Рисунки и обложка В. Кобелева

143881



ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
г. Свердловск

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Искусство РСФСР
Москва 1945 Ленинград

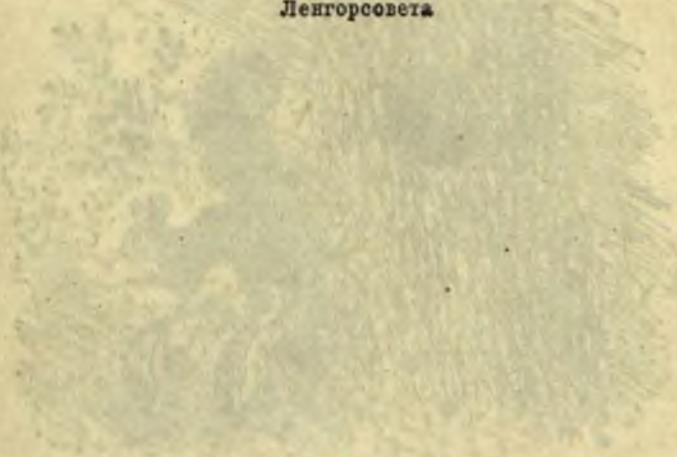
М-22

Л. П. МАШИНСКИЙ

РАССКАЗЫ И СКАЗКИ
Для младшего возраста

Редактор Д. Чевычелов. Книга
подписана к печ. 19/V 1945 г. М 02401.
Тираж 25 000 экз. Печ. л. 5³/₄. Авт. л. 5. 2.
Тип. зн в 1 печ л. 40330. Заказ № 886.

Типография № 9 Управления
издательств и полиграфии Исполкома
Ленгорсовета



1945.7.1

ОБЩЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ
Л. П. МАШИНСКОГО

ГОТОВИТЕЛЬ ИЛИ ЗАКАЗЧИК
ИЛИ ЗАКАЗЧИК
ИЛИ ЗАКАЗЧИК



ЕМЕЛЯ-ОХОТНИК

Далеко-далеко, в северной части Уральских гор, в непроходимой лесной глуши, спряталась деревушка Тычки. В ней всего одиннадцать дворов, — собственно, десять, потому что одиннадцатая избушка стоит совсем отдельно, у самого леса. Кругом деревни зубчатой стеной подымается вечно зеленый хвойный лес. Из-за

верхушек елей и пихт можно разглядеть несколько гор, которые, точно нарочно, обошли Тычки со всех сторон громадными синевато-серыми валами. Ближе других стоит к Тычкам горбатая Ручьева гора, с седой мохнатой вершиной, которая в пасмурную погоду совсем прячется в мутных, серых облаках. С Ручьевой горы сбегает много ключей и ручейков. Один такой ручеек весело катится к Тычкам и зиму и лето всех поит студеной, чистой, как слеза, водой.

Избы в Тычках выстроены без всякого плана, как кто хотел. Две избы стоят над самой речкой, одна — на крутом склоне горы, а остальные разбрелись по берегу, как овцы. В Тычках даже нет улицы, а между избами колесит избитая тропа. Да тычковским мужикам совсем и улицы, пожалуй, не нужно, потому что и ездить по ней не на чем: в Тычках нет ни у кого ни одной телеги. Летом эта деревушка бывает окружена непроходимыми болотами, топиями и лесными трущобами, так что в нее едва можно пройти пешком только по узким лесным тропам, да и то не всегда. В ненастье сильно играют горные речки, и часто случается тычковским охотникам дня по три ждать, когда вода спадет с них.

Все тычковские мужики записные охотники. Летом и зимой они почти не выходят из лесу, благо до него рукой подать. Всякое время года приносит с собой известную добычу: зимой бьют медведей, куниц, волков, лисиц, осенью — белку, весной — диких коз, летом — всякую птицу. Одним словом, круглый год стоит тяжелая и часто опасная работа.

В той избушке, которая стоит у самого леса, живет старый охотник Емеля с маленьким внучком Гришуткой. Избушка Емели совсем вросла в землю, глядит на свет божий всего одним окном; крыша на избушке давно прогнила, от трубы остались только обвалившиеся кирпичи. Ни забора, ни ворот, ни сарая — ничего не было у Емелиной избушки. Только под крыльцом из неотесанных бревен воеет по ночам голодный Лыско, одна из самых лучших охотничьих собак в Тычках. Перед каждой охотой Емеля дня три морит несчастного Лыска, чтобы он лучше искал дичь и выслеживал всякого зверя.

— Дедко... а дедко... — с трудом спрашивал маленький Гришутка однажды вечером. — Теперь олени с телятами ходят, дедко?

— С телятами, Гришук, — ответил Емеля, доплетая новые лапти.

— Вот бы, дедко, теленочка добыть... а?

— Погоди, добудем... Жары наступили, олени с телятами

в чаще прятаться будут от оводов, тут я тебе и теленочка добуду, Гришук!

Мальчик ничего не ответил, а только тяжело вздохнул. Гришутке всего было лет шесть, и он лежал теперь второй месяц на широкой деревянной лавке под теплой оленьей шкурой. Мальчик простудился еще весной, когда таял снег, и все не мог поправиться. Его смуглое личико побледнело и вытянулось, глаза сделались больше, нос обострился. Емеля видел, как внучонок таял не по дням, а по часам, но не знал, чем помочь горю. Поил какой-то травой, два раза носил в баню, — больному не делалось лучше. Мальчик почти ничего не ел. Пожует корочку черного хлеба, и только. Оставалась от весны соленая козлятина, но Гришук и смотреть на нее не мог.

„Ишь чего захотел — теленочка... — думал старый Емеля, доковыривая свой лапоть. — Ужо надо добыть“.

Емеле было лет семьдесят: седой, сгорбленный, худой, с длинными руками. Пальцы на руках у Емели едва разгибались, точно это были деревянные сучья. Но ходил он еще бодро и кое-что добывал охотой. Только вот глаза сильно начали изменять старику, особенно зимой, когда снег искрится и блестит кругом алмазной пылью. Из-за Емелиных глаз и труба развалилась, и крыша прогнила, и сам он сидит частенько в своей избушке, когда другие в лесу.

Пора старику и на покой, на теплую печку, да замениться некем, а тут вот еще Гришутка на руках очутился, о нем нужно позаботиться... Отец Гришутки умер три года назад от горячки, мать заели волки, когда она с маленьким Гришуткой зимним вечером возвращалась из деревни в свою избушку. Ребенок спасся каким-то чудом. Мать, пока волки грызли ей ноги, закрыла ребенка своим телом, и Гришутка остался жив.

Старому деду пришлось выращивать внучка, а тут еще болезнь приключилась. Беда не приходит одна...

II

Стояли последние дни июня месяца, самое жаркое время в Тычках. Дома остались только старые да малые. Охотники давно разбрелись по лесу за оленями. В избушке Емели бедный Лыско уже третий день завывал от голода, как волк зимой.

— Видно, Емеля на охоту собрался, — говорили в деревне бабы.

Это была правда. Действительно, Емеля скоро вышел из своей избушки с кремневой винтовкой в руке, отвязал Лыска и направился к лесу. На нем были новые лапти, котомка с хлебом за плечами, рваный кафтан и теплая оленья шапка на голове. Старик давно уже не носил шляпы, а зиму и лето ходил в своей оленьей шапке, которая отлично защищала его лысую голову от зимнего холода и от летнего зноя.

— Ну, Гришук, поправляйся без меня...—говорил Емеля внуку на прощанье. — За тобой приглядит старуха Маланья, пока я за телятником схожу.

— А принесешь телят-то, дедко?

— Принесу, сказал.

— Желтенького?

— Желтенького...

— Ну, я буду тебя ждать... Смотри, не промахнись, когда стрелять будешь...

Емеля давно собирался за оленями, да все жалел бросить внука одного, а теперь ему было как будто лучше, и старик решил попытать счастья. Да и старая Маланья поглядит за мальчонком,—все же лучше, чем лежать одному в избушке.

В лесу Емеля был, как дома. Да и как ему не знать этого леса, когда он целую жизнь бродит по нем с ружьем да с собакой. Все тропы, все приметы,—всё знал старик на сто верст кругом.

А теперь, в конце июня, в лесу было особенно хорошо: трава красиво пестрела распустившимися цветами, в воздухе стоял чудный аромат душистых трав, а с неба глядело ласковое летнее солнышко, обливавшее ярким светом и лес, и траву, и журчавшую в осоке речку, и далекие горы.

Да, чудно и хорошо было кругом, и Емеля не раз останавливался, чтобы перевести дух и оглянуться назад.

Тропинка, по которой он шел, змейкой взбиралась на гору, минуя большие камни и крутые уступы. Крупный лес был вырублен, а около дороги ютились молодые березки, кусты жимолости, и зеленым шатром раскидывалась рябина. Там и сям попадались густые перелески из молодого ельника, который зеленой щеткой вставал по сторонам дороги и весело топорщился лапистыми и мохнатыми ветвями. В одном месте, с половины горы, открывался широкий вид на далекие горы и на Тычки. Деревушка совсем спряталась на дне глубокой горной котловины, и крестьянские избы казались отсюда черными точками. Емеля, заслонив

глаза от солнца, долго глядел на свою избушку и думал о внучке.

— Ну, Лыско, ищи...—говорил Емеля, когда они спустились с горы и повернули с тропы в сплошной, дремучий ельник.

Лыску не нужно было повторять приказание. Он отлично знал свое дело и, уткнув свою острую морду в землю, исчез в густой зеленой чаще. Только на время мелькнула его спина с желтыми пятнами.

Охота началась.

Громадные ели поднимались высоко к небу своими острыми вершинами. Мохнатые ветви переплетались между собой, образуя над головой охотника непроницаемый темный свод, сквозь который только кое-где весело глянет солнечный луч и золотым пятном обожжет желтоватый мох или широкий лист папоротника. Трава в таком лесу не растет, и Емеля шел по мягкому желтоватому мху, как по ковру.

Несколько часов брел охотник по этому лесу. Лыско точно в воду канул. Только изредка хрустнет ветка под ногой или перелетит пестрый дятел. Емеля внимательно осматривал все кругом: нет ли где какого-нибудь следа, не сломал ли олень рогами ветки, не отпечаталось ли на мху раздвоенное копыто, не объедена ли трава на кочках. Начало темнеть. Старик почувствовал усталость. Нужно было думать о ночлеге. „Вероятно, оленей распугали другие охотники“, думал Емеля. Но вот послышался слабый визг Лыска, и впереди затрещали ветви. Емеля прислонился к стволу ели и ждал.

Это был олень. Настоящий, десятирогий красавец-олень, самое благородное из лесных животных. Вон он приложил свои ветвистые рога к самой спине и внимательно слушает, обнюхивая воздух, чтобы в следующую минуту молнией пропасть в зеленой чаще.

Старый Емеля завидел оленя, но он слишком далеко от него: не достать его пулей. Лыско лежит в чаще и не смеетдохнуть в ожидании выстрела; он слышит оленя, чувствует его запах...

Вот грянул выстрел, и олень, как стрела, понесся вперед. Емеля промахнулся, а Лыско взвыл от забиравшего его голода. Бедная собака уже чувствовала запах жареной оленины, видела аппетитную кость, которую ей бросит хозяин, а вместо этого приходится ложиться спать с голодным брюхом. Очень скверная история...

— Ну, пусть его погуляет,— рассуждал вслух Емеля, когда вечером сидел у огонька под густой столетней елью.— Нам надо теляночка добывать, Лыско... слышишь?

Собака только жалобно виляла хвостом, положив острую морду между передними лапами. На ее долю сегодня едва выпала одна сухая корочка, которую Емеля бросил ей.

III

Три дня бродил Емеля по лесу с Лыском и все напрасно: оленя с телянком не попадалось. Старик чувствовал, что выбивается из сил, но вернуться домой с пустыми руками не решался. Лыско тоже приуныл и совсем отощал, хотя и успел перехватить пару молодых зайчат.

Приходилось заночевать в лесу у огонька третью ночь. Но и во сне старый Емеля все видел желтенького телянка, о котором его просил Гришук; старик долго выслеживал свою добычу, прицеливался, но олень каждый раз убежал от него из-под носу. Лыско тоже, вероятно, бредил оленями, потому что несколько раз взвизгивал и принимался глухо лаять.

Только на четвертый день, когда и охотник и собака совсем выбились из сил, они совершенно случайно попали на след оленя с телянком. Это было в густой еловой заросли на скате горы. Прежде всего Лыско отыскал место, где ночевал олень, а потом разнюхал и запутанный след в траве.

„Матка с телянком,— думал Емеля, разглядывая на траве следы больших и маленьких копыт.— Сегодня утром была здесь... Лыско, ищи, голубчик!..“

День был знойный. Солнце палило нещадно. Собака обнюхивала кусты и траву с высунутым языком; Емеля едва таскал ноги. Но вот знакомый треск и шорох... Лыско упал на траву и не шевелился. В ушах Емели стоят слова внучка: „Дедко, добудь телянка... И непременно, чтобы был желтенький“. Вон и матка... Это был великолепный олень-самка. Он стоял на опушке леса и пугливо смотрел прямо на Емелю. Кучка жужжавших насекомых кружилась над оленем и заставляла его вздрагивать.

„Нет, ты меня не обманешь“, думал Емеля, выползая из своей засады.

Олень давно почуял охотника, но смело следил за его движениями.

«Это matka меня от теленка отводит», думал Емеля, подползая все ближе и ближе.

Когда старик хотел прицелиться в оленя, он осторожно перебежал несколько сажен далее и опять остановился. Емеля снова пополз с своей винтовкой. Опять медленное подкрадывание, и опять олень скрылся, как только Емеля хотел стрелять.

— Не уйдешь от теленка,—шептал Емеля, терпеливо выслеживая зверя в течение нескольких часов.

Эта борьба человека с животным продолжалась до самого вечера. Благородное животное десять раз рисковало жизнью, стараясь отвести охотника от спрятавшегося олененка; старый Емеля и сердился и удивлялся смелости своей жертвы. Ведь все равно она не уйдет от него... Сколько раз приходилось ему убивать таким образом жертвовавшую собою мать! Лыско, как тень, ползал за хозяином, и когда тот совсем потерял оленя из виду, осторожно ткнул его своим горячим носом.

Старик оглянулся и присел. В десяти саженях от него, под кустом жимолости, стоял тот самый желтенький теленок, за которым он бродил целых три дня. Это был прехорошенький олененок, всего нескольких недель, с желтым пушком и тоненькими ножками; красивая головка была откинута назад, и он вытягивал тонкую шею вперед, когда старался захватить веточку повыше. Охотник с замирающим сердцем взвел курок винтовки и прицелился в голову маленькому беззащитному животному...

Еще одно мгновение, и маленький олененок покатился бы по траве с жалобным, предсмертным криком, но именно в это мгновение старый охотник припомнил, с каким геройством защищала теленка его мать, припомнил, как мать его Гришутки спасла сына от волков своим телом... Точно что оборвалось в груди у старого Емели, и он опустил ружье. Олененок попрежнему ходил около куста, общипывая листочки и прислушиваясь к малейшему шороху. Емеля быстро поднялся и свистнул,—маленькое животное скрылось в кустах с быстротой молнии.

— Ишь, какой бегун...—говорил старик, задумчиво улыбаясь.—Только его и видел: как стрела... Ведь убежал, Лыско, наш олененок-то! Ну, ему, бегуну, еще надо подрасти... Ах ты, какой шустрый!

Старик долго стоял на одном месте и все улыбался, припоминая бегуна.

На другой день Емеля подходил к своей избушке.

— А... дедко, принес теленка?—встретил его Гриша, ждавший все время старика с нетерпением.

— Нет, Гришук... видел его...

— Желтенький?

— Желтенький сам, а мордочка черная. Стоит под кустиком и листочки ощипывает... Я прицелился...

— И промахнулся?

— Нет, Гришук: пожалел... малого зверя... матку пожалел. Как свистну, а он, теленок-то, как стреканет в чашу,—только его и видели. Убежал, пострел этакий...

Старик долго рассказывал мальчику, как он искал теленка по лесу три дня и как тот убежал от него. Мальчик слушал и весело смеялся вместе с старым дедом.

— А я тебе глухаря принес, Гришук,—прибавил Емеля, кончив рассказ.—Этого все равно волки бы съели.

Глухарь был ощипан, а потом попал в горшок. Больной мальчик с удовольствием поел глухариной похлебки и, засыпая, несколько раз спрашивал старика:

— Так он убежал, олененок-то?

— Убежал, Гришук...

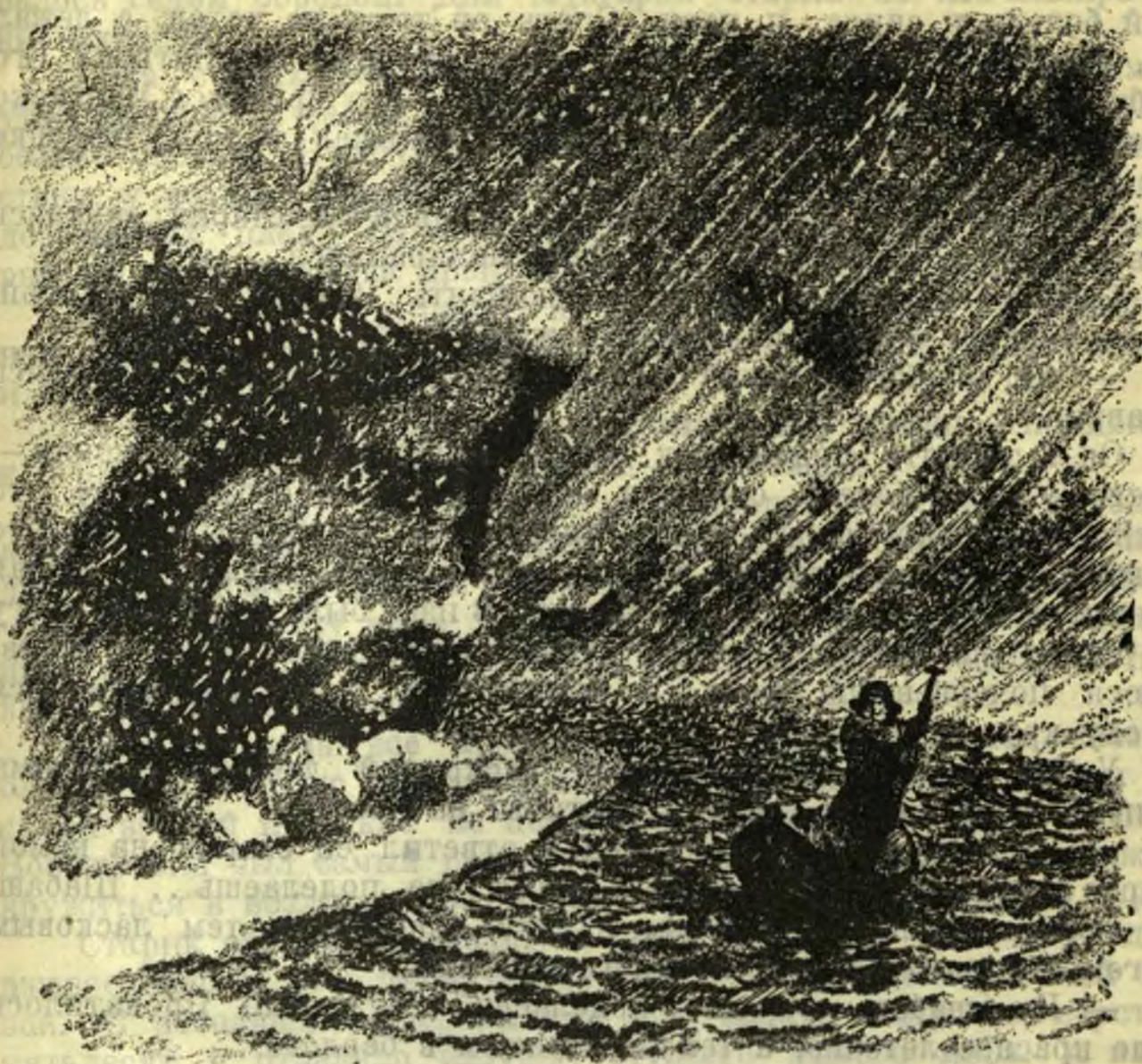
— Желтенький?

— Весь желтенький, только мордочка черная да копытца.

Мальчик так и уснул и всю ночь видел маленького желтого олененка, который весело гулял по лесу с своей матерью; а старик спал на печке и тоже улыбался во сне.



На другой день Емеля подошел к своей пещерке.



ЗИМОВЬЕ НА СТУДЕНОЙ

I

Старик лежал на своей лавочке у печи, закрывшись старой дохой из вылезших оленьих шкур. Было рано или поздно—он не знал, да и знать не мог, потому что светало поздно, а небо еще с вечера было затянуто низкими осенними тучами. Вставать ему не хотелось: в избушке было холодно, а у него уже несколько

дней болели и спина, и ноги. Спать он тоже не хотел, а лежал так, чтобы провести время. Да и куда ему было торопиться? Его разбудило осторожное царапанье в дверь, — это просился Музгарко, небольшая пестрая вогульская собака, жившая в этой избушке уже лет десять.

— Я вот тебе задам, Музгарко! — заворчал старик, кутаясь в свою доху с головой. — Ты у меня поцарапайся...

Собака на время перестала скоблить дверь своей лапой, а потом вдруг взвыла протяжно и жалобно.

— Ах, шток тебя волки съели! — обругался старик, поднимаясь с лавки.

Он в темноте подошел к двери, отворил ее и все понял — отчего у него болела спина и отчего завывала собака. Все, что можно было рассмотреть в приотворенную дверь, было покрыто снегом. Да, он ясно теперь видел, как в воздухе кружилась живая сетка из мягких, пушистых снежинок. В избе было темно, а в снегу все видно — и зубчатую стенку стоявшего за рекой леса, и надувшуюся почерневшую реку, и каменистый мыс, выдававшийся в реку крутым уступом.

Умная собака сидела перед раскрытой дверью и такими умными, говорящими глазами смотрела на хозяина.

— Ну што же, значит, конец! — ответил ей старик на немой вопрос собачьих глаз. — Ничего, брат, не поделаешь... Шабаш!

Собака вильнула хвостом и тихо взвизгнула тем ласковым визгом, которым встречала одного хозяина.

— Ну, шабаш, ну што поделаешь, Музгарко! Прокатилось наше красное летечко, а теперь заляжем в берлоге...

На эти слова последовал легкий прыжок, и Музгарко очутился в избушке раньше хозяина.

— Не любишь зиму, а? — разговаривал старик с собакой, растопляя старую печь, сложенную из дикого камня. — Не нравится, а?

Колебавшееся в печке пламя осветило лавочку, на которой спал старик, и целый угол избушки. Из темноты выступали закопченные бревна, покрытые кое-где плесенью, развешанная в углу сеть, недоконченные новые лапти, несколько беличьих шкурок, болтавшихся на деревянном крюку, а ближе всего сам старик — сгорбленный, седой, с ужасным лицом. Это лицо точно было сдвинуто на одну сторону, так что левый глаз вытек и закрылся припухшим веком. Впрочем, безобразие отчасти скрады-

валось седой бородой. Для Музгарки старик не был ни красив, ни некрасив.

Пока старик растоплял печь, уже рассвело. Серое зимнее утро занялось с таким трудом, точно невидимому солнцу было больно светить. В избушке едва можно было рассмотреть дальнюю стену, у которой тянулись широкие нары, устроенные из тяжелых деревянных плах. Единственное окно, наполовину залепленное рыбьим пузырем, едва пропускало свет.

Музгарко сидел у порога и терпеливо наблюдал за хозяином, изредка виляя хвостом. Но и собачьему терпенью бывает конец, и Музгарко опять слабо взвизгнул.

— Сейчас, не торопись, — ответил ему старик, придвигая к огню чугунный котелок с водой. — Успеешь...

Музгарко лег и, положив остромордую голову в передние лапы, не спускал глаз с хозяина. Когда старик накинул на плечи дырявый пониток, собака радостно залаяла и бросилась в дверь. — То-то вот у меня поясница третий день болит... — объяснял старик собаке на ходу. — Оно и вышло, што к ненастью. Вона как снежок подваливает...

За одну ночь все кругом совсем изменилось: лес казался ближе, речка точно сузилась, а низкие зимние облака ползли над самой землей и только не цеплялись за верхушки елей и пихт. Вообще вид был самый печальный, а пушинки снега продолжали кружиться в воздухе и беззвучно падали на помертвевшую землю.

Старик оглянулся назад, за свою избушку — за ней уходило ржавое болото, чуть тронутое кустиками и жесткой болотной травой. С небольшими перерывами это болото тянулось верст на пятьдесят и отделяло избушку от всего живого мира. А какая она маленькая показалась теперь старику, эта избушка, точно за ночь выросла в землю...

К берегу была причалена лодка-душегубка. Музгарко первый вскочил в нее, оперся передними лапами на край, зорко посмотрел вверх реки, туда, где выдавался мыс, и слабо взвизгнул.

— Чему обрадовался спозаранку? — окликнул его старик. — Погоди, может, и нет ничего...

Собака знала, что есть, и опять взвизгнула: она видела затонувшие поплавки закинутой в омуте снасти. Лодка начала подниматься вверх по реке около самого берега. Старик стоял на ногах и гнал лодку вперед, подпираясь шестом. Он тоже знал по визгу собаки, что будет добыча. Снасть, действительно, огрузла самой

серединой, и, когда лодка подошла, деревянные поплавки повело книзу.

— Есть, Музгарко...

Снасть состояла из брошенной поперек реки бечевы с поводками из тонких шнуров и волосяной леси. Каждый поводок заканчивался острым крючком. Подъехав к концу снасти, старик осторожно начал выбирать ее в лодку. Добыча была хорошая: два больших сига, несколько судаков, щука и целых пять штук стерлядей.

Щука попалась большая, и с ней было много хлопот. Старик осторожно подвел ее к лодке и сначала оглушил своим шестом, а потом уже вытащил. Музгарко сидел в носу лодки и внимательно наблюдал за работой.

— Любишь стерлядку? — дразнил его старик, показывая рыбу. — А ловить не умеешь... погоди, заварим сегодня уху. К ненастью рыба идет лучше на крюк... В омуте она теперь сбивается на зимнюю лежанку, а мы ее из омута и будем добывать: вся наша будет. Лучить ужо поедем... Ну, а теперь айда домой! Судаков-то подвесим, высушим, а потом купцам продадим...

Старик запасал рыбу с самой весны: часть вялил на солнце, другую сушил в избе, а остатки сваливал в глубокую яму вроде колодца; эта последняя служила кормом Музгарке. Свежая рыба не переводилась у него целый год, только нехватало у него соли, чтобы ее солить, да и хлеба не всегда доставало, как было сейчас. Запас ему оставляли с зимы до зимы.

— Скоро обоз придет, — объяснял старик собаке. — Привезут нам с тобой и хлеба, и соли, и пороху. Вот только избушка наша совсем развалилась, Музгарко.

Осенний день короток. Старик все время проходил около своей избушки, поправляя и то, и другое, чтобы лучше ухорониться на зиму. В одном месте мох вылез из пазов, в другом — бревно подгнило, в третьем — угол совсем осел и, того гляди, отвалится. Давно бы уж новую избушку пора ставить, да одному все равно ничего не поделать.

— Как-нибудь, может, перебыюсь зиму, — думал старик вслух, постукивая топором в стеву. — А вот обоз придет, так тогда...

Выпавший снег все мысли старика сводил на обоз, который приходил по первопутку, когда вставали реки. Людей он только и видел один раз в году. Было о чем подумать.

Музгарко отлично понимал каждое слово хозяина и при одном

слове „обоз“ смотрел вверх реки и радостно взвизгивал, точно хотел ответить, что вон, мол, откуда придет обоз-то—из-за мыса.

К избе был приделан довольно большой низкий сруб, служивший летом амбаром, а зимой—казармой для ночлега ямщиков. Чтобы защитить от зимней непогоды лошадей, старик с осени устраивал около казармы из молодых, пушистых пихт большую загородку. Намаются лошади тяжелой дорогой, запотеют, а ветер дует холодный, особенно с солнцевосхода. Ах, какой бывает ветер,— даже дерево не выносит и поворачивает свои ветви в теплую сторону, откуда весной летит всякая птица.

Кончив работу, старик сел на обрубок дерева под окном избышки и задумался. Собака села у его ног и положила свою умную голову к нему на колени.

О чем думал старик?

Первый снег всегда и радовал его, и наводил тоску, напоминая старое, что осталось вон за теми горами, из которых выбегала река Студеная.

Там у него был и свой дом, и семья, и родные были, а теперь никого не осталось. Всех он пережил, и вот где привел бог кончить век: умрет—некому глаза закрыть. Ох, тяжело старое одиночество, а тут лес кругом, вечная тишина, и не с кем слова сказать. Одна отрада оставалась—собака. И любил же ее старик: гораздо больше, чем любят люди друг друга. Ведь она для него была все и тоже любила его. Не один раз случалось так, что на охоте Музгарко жертвовал своей собачьей жизнью за хозяина, и уже два раза медведь помял его за отчаянную храбрость.

— А ведь стар ты стаешь, Музгарко,—говорил старик, глядя собаку по спине.—Вон и спина прямая стала, как у волка, и зубы притупились, и в глазах муть... Эх, старик, старик, съедят тебя зимой волки! Пора, видно, нам с тобой и помирать.

Собака была согласна и помирать. Она только теснее прижималась всем телом к хозяину и жалобно моргала.

А он сидел и все смотрел на почерневшую реку, на глухой лес, зеленой стеной уходивший на сотни верст туда, к студеному морю, на чуть брезжившие горы в верхьях Студеной,—смотрел и не шевелился, охваченный своей тяжелой стариковской думой.

Вот о чем думал старик.

Родился и вырос он в глухой лесной деревушке Чалпан, засевшей на реке Колве. Место было глухое, лесистое, хлеб не родился, и мужики промышляли кто охотой, кто сплавом леса,

кто рыбной ловлей. Деревня была бедная, как почти все деревни в Чердынском краю, и многие уходили на промысел куда-нибудь на сторону: на солеваренные промысла в Усолье, на плотбища по реке Вишере, где строились лесопромышленниками громадные баржи, на железные заводы по реке Каме.

Старик тогда был совсем молодым, и звали его по деревне Елеской Шишмарем,—вся семья были Шишмари. Отец промышлял охотой, и Елеска с ним, еще мальчиком, прошел всю Колву. Били они и рябчика, и белку, и куницу, и оленя, и медведя,—что попадет. Из дому уходили недели на две, на три.

Потом Елеска вырос, женился и зажил своим домом в Чалпане, а сам попрежнему промышлял охотой. Стала потихоньку у Елески подрастать своя семья—два мальчика да девочка; славные ребятки росли и были бы отцу подмогой на старости лет. Но богу было угодно другое: в холерный год вся семья Елески вымерла...

Случилось это горе осенью, когда он ушел с артелью других охотников в горы за оленями. Ушел он семейным человеком, а вернулся бобылем. Тогда половина народу в Чалпане вымерла: холера прошла на Колву с Камы, куда уходили на сплавы чалпанские мужики. Они и занесли с собой страшную болезнь, которая косила людей, как траву.

Долго горевал Елеска, но во второй раз не женился: поздно было вторую семью заводить.

Так он и остался бобылем, и пуще прежнего занялся охотой.

В лесу было весело, да и привык уж очень к такой жизни Елеска. Только и тут стряслась с ним великая беда. Обошел он медвежью берлогу, хорошего зверя подглядел и уж вперед рассчитал, что в Чердыне за медвежью шкуру получит все пять рублей. Не в первый раз выходил на зверя с рогатиной да с ножом, но на этот раз сплеховал: поскользнулась у Елески одна нога, и медведь насел на него. Рассвирепевший зверь обломал охотника на смерть, а лицо сдвинул ударом лапы на сторону. Едва приполз Елеска из лесу домой, и здесь свой знахарь лечил его целых полгода: остался жив, а только сделался уродом. Не мог далеко уходить в лес, как прежде, когда ганивал сохатого на лыжах верст по семидесяти, не мог промышлять наравне с другими охотниками,—одним словом, пришла беда неминуемая.

В своей деревне делать Елеске было нечего, кормиться мирским подаванием не хотел, и отправился он в город Чердынь,

к знакомым купцам, которым раньше продавал свою охотничью добычу. Может, место какое-нибудь обыщут Елеске богатые купцы. И нашли.

— Бывал на волоке с Колвы на Печору? — спрашивали его промышленники. — Там на реке Студеной зимовье, — так вот тебе быть там сторожем. Вся работа только зимой: встретить да проводить обозы, а там гуляй себе целый год. Харч мы тебе будем давать и одежду, и припас всякий для охоты — поблизости от зимовья промыслять можешь. Одним словом, не жисть тебе будет, а масленица.

— Далеконько, ваше степенство... — замаялся Елеска. — Во все стороны от зимовья верст на сто жилья нет, а летом туда и не пройдешь.

— Уж это твое дело, выбирай из любых: дома голодать или на зимовье барином жить.

143881 Подумал Елеска и согласился, а купцы выслали ему и харч, и одежду только один год. Потом Елеска должен был покупать все на деньги от своей охоты и рыбной ловли на зимовье. Так он и жил в лесу. Год шел за годом. Елеска состарился и боялся только одного: что придет смертный час и некому будет его похоронить.

II

До обоза, пока реки еще не стали, старик успел несколько раз сходить на охоту. Боровой рябчик поспел давно, но бить его не стоило, потому что все равно сгниет в тепле. Обозный приказчик всегда покупал у старика рябчиков с особенным удовольствием, потому что из этих мест шел крепкий и белый рябчик, который долго не портился, а это всего важнее, потому что убитые на Студеной рябчики долетали до Парижа. Их скупали купцы в Чердыни, а потом отправляли в Москву, а из Москвы рябчиков везли громадными партиями за границу. Старик на двадцать верст от своей избушки знал каждое дерево и с лета замечал все рябиные выводки, где они высиживались, паслись и кормились. Когда выводки поспевали, он знал, сколько штук в каждом, но для себя не прочил ни одного, потому что это был самый дорогой товар, и он получал за него самый дорогой припас — порох и дробь.

Нынешняя охота посчастливилась необыкновенно, так что

старик заготовил пар тридцать еще до прихода обоза, и боялся только одного: как бы не ударила ростепель. Редко случалась такая ростепель на Студеной, но могла и быть.

— Ну, теперь мы с тобой на припас добыли,—объяснял старик собаке, с которой всегда разговаривал, как с человеком.— А пока обоз ходит с хлебом на Печору, мы и харч себе обрабатываем... Главное—соли добыть побольше. Ежели бы у нас с тобой соль была, так богаче бы нас не было вплоть до самой Чердыни. О соли старик постоянно говорил: „Ах, кабы соль была—не жигье, а рай“.

Теперь он рыбу ловил только для себя, а остальную сушил,—какая цена такой сушеной рыбе? А будь соль, тогда бы он рыбу солил, как печорские промышленники, и получал бы за нее вдвое больше, чем теперь. Но соль стоила дорого, а запастись ее приходилось бы пудов по двадцати,—где же такую уйму деньжищ взять, когда с грехом пополам хватало на харч да на одежду. Особенно жалел старик, когда летним делом, в петровки, убивал оленя: свежее мясо портится скоро—два дня поест оленины, а потом бросай! Сушеная оленина—как дерево.

Стала и Студеная. Горная холодная вода долго не замерзает, а потом лед везде проедается полыньями. Это ключи из земли бьют. Запасал теперь старик и свежую рыбу, которую можно было сейчас морозить, как рябчиков. Лиха беда в том, что времени было мало. Того и гляди, что подвалит обоз.

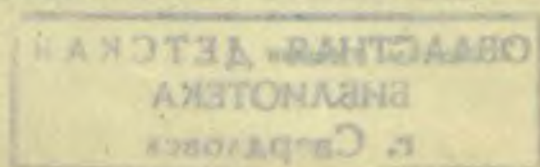
— Скоро, Музгарко, харч нам придет.

Собственно, хлеб у старика вышел еще до заморозков, и он подмешивал к остаткам ржаной муки толченую сухую рыбу. Есть одно мясо или одну рыбу было нельзя. Дня через три так отобьет, что потом в рот не возьмешь. Конечно, ненцы и вогулы питаются одной рыбой, так они к этому привычны, а русский человек—хлебный и не может по-ихнему.

Обоз пришел совершенно неожиданно. Старик спал ночью, когда заскрипели возы и послышался крик:

— Эй, дедушка, жив ли ты? Прймай гостей... Давно не видались.

Старика больше всего поразило то, что Музгарко прокараулил дорогих, жданных гостей. Обыкновенно он чуял их, когда обоз еще был версты за две, а нынче не слышал. Он даже не выскочил на улицу, чтобы полаять на лошадей, а стыдливо спрягался под хозяйскую лавку и не подал голоса.



— Музгарко, да ты в уме ли?—удивлялся старик.—Проспал обоз... Ах, нехорошо!

Собака выползла из-под лавки, лизнула его в руку и опять скрылась: она сама чувствовала себя виноватой.

— Эх, стар стал, нюх потерял,—заметил с грустью старик.— И слышит плохо на левое ухо.

Обоз состоял воев из двадцати... На Печору чердынские купцы отправляли по первопутку хлеб, соль, разные харчи и рыболовную снасть, а оттуда вывозили свежую рыбу. Дело было самое спешное, чтобы добыть печорскую рыбу раньше других,—шла дорогая печорская семга. Обоз должен был сломать трудную путину в две недели, и ямщики спали только во время кормежек, пока лошади отдыхали. Особенно торопились назад, тогда уж и спать почти не приходилось. А дорога через волок была трудная, особенно горами. Дорога скверная, каменистая, сани некованые, а по речкам везде наледи да промоины. Много тут погублено хороших лошадей, а людям приходилось работать, как нигде: вывозить воев в гору на себе, добывать их из воды, вытаскивать из раскатов. Только одни колвинские ямщики и брались за такую проклятую работу, потому что гнала на Печору горькая нужда.

В зимовье на Студеной обоз делал передышку: вместо двухчасовой кормежки лошади здесь отдыхали целых четыре. Казарму старик подтопил заранее, и ямщики, пустив лошадей к корму, завалились спать на деревянных нарах ямщицым мертвым сном. Не спал только молодой приказчик, еще в первый раз ехавший на Печору. Он сидел у старика в избушке и разговаривал.

— И не страшно тебе в лесу, дедушка?

— А чего бояться, Христос с нами! Привычное наше дело. В лесу выросли...

— Да как же не бояться: один в лесу...

— А у меня песик есть... Вот вдвоем и коротаем время. По зимам вот волки одолевают, так он мне вперед сказывает, когда придут они в гости. Чует... И дошлая: сама поднимает волков. Они бросятся за ней, а я их из ружья. Умнеющая собака,—только вот не скажет, как человек. Я с ней всегда разговариваю, а то, пожалуй, и говорить разучишься.

— Откуда же ты такую добыл, дедушка?

— Давно это было, почитай годов с десять. Вот по зиме, этак перед Рождеством, выслеживал я в горах лосей. Была у меня собачка, еще с Колвы привел. Ну, ничего, правильный песик: и зверя

брал, и птицу искал, и белку,—все как следует. Только иду я с ним по лесу, и вдруг этот Музгарко прямо как выскочит на меня. Даже испугал... Не за обычай это у наших промысловых собак, чтобы к незнакомому человеку ластиться, как к хозяину, а эта так прямо ко мне и бросилась. Вижу, што дело как будто неладно. А он этак смотрит на меня, умненько таково, а сам ведет все дальше... И што бы ты думал, братец ты мой, ведь привел! В логовине этак вижу шалашик из хвои, а из шалашика чуть пар. Подхожу. В шалашике вогул лежит, болен, значит, и от свсей артели отстал. Пряменько сказать: помирает человек. На охоте его ухватила немочь, другим-то не ждять. Увидал меня, обрадовался, а сам едва уж языком ворочает. Больше все руками объяснил... Вот он меня и благословил этим песиком... При мне и помер, сердяга, а я его закопал в снегу, заволок хворостом да бревном придавил сверху, чтобы волки не съели. А Музгарко, значит, мне достался... Это по речке я его назвал, где вогул помирал: Музгаркой звать речку, ну, я и собаку так же назвал. И умный песик... По лесу идет, так после него хоть метлой подметай,—ничего не найдешь. Ты думаешь, он вот сейчас не понимает, што о нем говоряг? Все понимает.

— Зачем он под лавкой-то лежит?

— А устыдился, потому обоз прокараулил. Стар стал... Два раза меня от медведя ухранил: медведь-то на меня, а он его и остановит. Прежде я с рогатиной ходил на медведя, когда еще в силе был, а как один меня починил, ну, я уж из ружья норовлю его свалить. Тоже его надо умеючи взять: смышлястый зверь.

— Ну, а зимой-то, поди, скучно в избушке сидеть?

— Привышное дело... Вот только праздники когда, так скушновато.

Славный эгот приказчик, молодой такой, и все ему надо знать. Елеска обрадовался живому человеку и все рассказывал про свою одинокую жизнь в лесу.

— У меня по весне праздник бывает, милый человек, когда с тепл-го моря птица прилетит. И сколько ее летит: туча... По Студеной-то точно ее насыпано... Всякого сословия птицы: и утки, и гуси, и кулики, и чайки, и гагары... Выйдешь на заре, так стоп идет по Студеной. И нет лучше твари, как перелетная птица. Большие тыщи верет летит, тоже устанет, затощает и месту рада. Прилетела, вздохнула денек и сейчас гнездо налаживать. А я хожу и смотрю. И как наговаривают! Слушаешь, слушаешь, инда слеза

проймет. Любезная тварь—перелетная птица... Я ее не трогаю. А когда гнезда она строит, это ли не божецкое произволение? Человеку так не соорудить. А потом матки с выводками на Студеную выплывут... Красота, радость... Плавают, полощутся, гогочут... Несчерпаемо здесь перелетной птицы. Праздником все летечко прокатится; а к осени начнет птичка грудиться стайками: пора опять в дорогу. И собираются, как люди... Лопочут по-своему, суется, молодых учат, а потом и поднялись... Ранним утром снимаются с места, вожак в голове летит. А есть и такие, которые остаются: здоровьем слаба выйдет или поздышки выведутся... Жаль на них глядеть. Кричат, бедные, когда мимо них стая за стаяй летит. На Студеной всё околачиваются. Плавают-плавают, пока забереги настынут, потом в полыньях кружатся... Ну, этих уж я из жалости пришибу. Што ей маяться-то, все равно сгибнет. Лебеди у меня тут в болоте гнезда выют. Всякой твари свое произволение, свой предел... Одного только у меня нехватает, родной человек: который год прошу ямщиков, чтобы петушка мне привезли... Зимой-то ночи долгие, конца нет, а петушок-то и сказал бы, который час на дворе.

— В следующий раз я тебе привезу самого горластого, дедушка: как пьяный мужик будет орать.

— Ах, родной, то-то уважил бы старика... Втроем бы мы вот как зажили! Скушно, когда по зимам мертвая тишь встанет, а тут бы петушок, глядишь, и взвеселил... Тоже не простая тваринка, петушок-то; другой такой нет, чтобы часы сказывала. На потребу человеку петушок сотворен.

Приказчика звали Флегонтом. Он оставил старому Елеске и муки, и соли, и новую рубаху, и пороху, а на обратном пути с Печоры привез подарок.

— Я тебе часы привез, дедушка,—весело говорил он, подавая мешок с петухом.

— Ах, кормилец, ах, родной... Да как я тебя благодарить буду? Ну, пошли тебе бог всего, чего сам желаешь. Поди, и невеста где-нибудь подгляжена, так любовь да совет...

— Есть такой грех, дедушка,—весело ответил Флегонт, встряхивая русыми кудрями.—Есть в Чердыни два светлых глаза: посмотрели они на меня да и заморозили... Ну, оставайся с богом.

— Соболька припасу твоей невесте на будущую осень, как опять поедешь на Печору. Есть у меня один на примете.

Ушел обоз в обратный путь, и остался старик с петушком.

Радости-то сколько... Пестренький петушок, гребешок красненький—ходит по избушке, каждое перышко играет. А ночью как гаркнет... То-то радость и утешение! Каждое утро стал Елеска теперь разговаривать со своим петушком, и Музгарко их слушает.

— Што, завидно тебе, старому?—дразнит Елеска собаку.— Только твоего и ремесла, што лаять. А вот ты по-петушиному спой!

Заметил старик, как будто заскучал Музгарко. Понурый такой ходит. Неможется что-то собаке. Должно полагать, ямщики сглазили.

— Музгарушко, да што это с тобой попритчилось? Где болит? Лежит Музгарко под лавкой, положил голову между лапами и только глазами моргает.

Всполошился старик: накатила беда нежданная. А Музгарко все лежит, не ест, не пьет и голосу не подает.

— Музгарушко, милый! Вильнул хвостом Музгарко, подполз к хозяину, лизнул руку и тихо взвыл. Ох, плохо дело!

III

Ходит ветер по Студеной, наметает саженные сугробы снега, завывает в лесу, точно голодный волк. Избушка Елески совсем потонула в снегу. Торчит без малого одна труба, да вьется из нее синяя струйка дыму...

Воет пурга уже две недели, две недели не выходит из своей избушки старик и все сидит над больной собакой. А Музгарко лежит и едва дышит: пришла Музгаркина смерть.

— Кормилец ты мой...—плачет старик и целует верного друга.—Родной ты мой... Ну, где болит?...

Ничего не отвечает Музгарко, как раньше. Он давно почуял свою смерть и молчит... Плачет, убивается старик, а помочь нечем: от смерти лекарства нет. Ах, горе какое лютое привалилось...

С Музгаркой умерла последняя надежда старика, и ничего, ничего не оставалось для него, кроме смерти. Кто теперь будет искать белку, кто облает глухаря, кто выследит оленя? Смерть без Музгарки, ужасная, голодная смерть. Хлебного припасу едва хватит до Крещенья, а там помирать...

Воет пурга, а старик вспоминает, как жил он с Музгаркой, как ходил на охоту и промыслял себе добычу. Куда он без собаки?

А тут еще волки... Учужали беду, пришли к избушке и завыли.

Целую ночь так-то выли, надрывая душу. Некому теперь пугнуть их, облаять, подманить на выстрел.

Вспоминался старику случай, как одолевал его медведь-шатун. Шатунами называют медведей, которые во-время не залегли с осени в берлогу и бродят по лесу. Такой шатун—самый опасный зверь. Вот и повадился медведь к избушке: учуял запасы у старика. Как ночь, так и придет. Два раза на крышу залезал и лапами разгребал снег. Потом выворотил дверь в казарме и утащил целый ворох запасенной стариком рыбы. Донял-таки шатун Елеску до самого нельзя. Озлобился на него старик за озорство, зарядил винтовку пулей и вышел с Музгаркой. Медведь так и прыгнул на старика и наверно бы его смял под себя, прежде чем тот успел бы в него выстрелить, но спас Музгарко. Ухватил он зверя сзади и посадил, а Елескина пуля не знала промаха. Да мало ли было случаев, когда собака спасала старика...

Музгарко издох перед самым Рождеством, когда мороз трещал в лесу. Дело было ночью. Елеска лежал на своей лавочке и дремал. Вдруг его точно что кольнуло. Вскочил он, вздул огня, зажег лучину, подошел к собаке,—Музгарко лежал мертвый. Елеска похолодел: это была его смерть.

— Музгарко, Музгарко,—повторял несчастный старик, лаская мертвого друга. — Што я теперь делать буду без тебя?

Не хотел Елеска, чтобы волки съели мертвого Музгарку, и закопал его в казарме. Три дня он долбил мерзлую землю, сделал могилку и со слезами похоронил в ней верного друга.

Оставался один петушок, который попрежнему будил старика ночью. Проснется Елеска и сейчас вспомнит про Музгарку. И делается ему горько и тошно до смерти. Поговорить не с кем. Конечно, петушок—птица занятая, а все-таки птица и ничего не понимает.

— Эх, Музгарко!—повторял Елеска по несколько раз в день, чувствуя, как все начинает у него валиться из рук.

Бедным людям приходится забывать свое горе за работой. Так было и тут. Хлебные запасы приходили к концу, и пора было Елеске подумать о своей голове. А главное—тошно ему теперь показалось оставаться в своей избушке.

— Эх, брошу все, уйду на Колву, а то в Чердынь проберусь!—решил старик.

Поправил он лыжи, на которых еще молодым гонял оленей, снарядил котомку, взял запасу дней на пять, простился с Музгар-

киной могилой и тронулся в путь. Жаль было петушка оставлять одного, и Елеска захватил его с собой: посадил в котомку и несет. Отошел старик до каменного мыса, оглянулся на свое жилище и заплакал: жаль стало насиженного, теплого угла.

— Прощай, Музгарко...

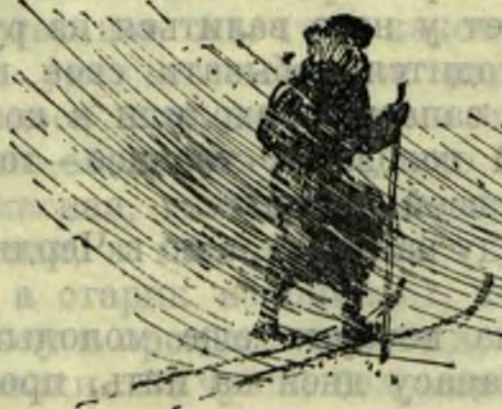
Трудная дорога вела с зимовья на Колву. Сначала пришлось идти на лыжах по Студеной. Это было легко, но потом начались горы, и старик скоро выбился из сил. Прежде-то, как олень, бегал по горам, а тут на двадцати верстах обессилел. Хоть ложись и помирай... Выкопал он в снегу ямку поглубже, устлал хвоей, развел огонька, поел, что было в котомке, и прилег отдохнуть. И петушка закрыл котомкой... С устали он скоро заснул. Сколько он спал, долго ли, только проснулся от петушиного крика.

„Волки...“ — мелькнуло у него в голове.

Но хочет он подняться и не может, точно кто его связал веревками. Даже глаз не может открыть... Еще раз крикнул петух и затих: его вместе с котомкой утащил из ямы волк. Хочет подняться старик, делает страшное усилие и слышит вдруг знакомый лай: точно где-то под землей взлаял Музгарко. Да, это он... Ближе, ближе — это он по следу нижним чутьем идет. Вот уже совсем близко, у самой ямы... Открывает Елеска глаза и видит: действительно, Музгарко, а с Музгаркой тот самый вогул, первый его хозяин, которого он в снегу схоронил.

— Ты здесь, дедушка? — спрашивает вогул, а сам смеется. — Я за тобой пришел...

Дунул холодный ветер, рванул комья снега с высоких елей и пихт, и посыпался он на мертвого Елеску; к утру от его ямки и следов не осталось.





БОГАЧ И ЕРЕМКА

I

— Еремка, сегодня будет пожива, — сказал старый Богач, прислушиваясь к завывавшему в трубе ветру. — Вон какая погода разыгралась.

Еремкой звали собаку потому, что она когда-то жила у охотника Еремы. Какой она была породы, трудно сказать, хотя на-

обыкновенную деревенскую дворняжку и не походила: высока на ногах, лобаста, морда острая, с большими глазами.

Покойный охотник Ерема не любил ее за то, что у нее одно ухо „торчало пнем“, а другое висело, и потом за то, что хвост у нее был какой-то совсем необыкновенный—длинный, пушистый и болтавшийся между ног, как у волка. К Богачу она попала еще щенком и потом оказалась необыкновенно умной.

— Ну, твое счастье,—посмеивался Ерема.—И шерсть у нее хороша, точно вот сейчас из лужи вылезла. Тоже и пес уродился... Уж, видно, вам на роду написано вместе жить. Два сапога—пара.

Охотник Ерема до известной степени был прав. Действительно, существовало какое-то неуловимое сходство между Богачом и Еремкой.

Богач был высокого роста, сутуловат, с большой головой и длинными руками и весь какой-то серый. Он всю жизнь прожил бобылем. В молодости был деревенским пастухом, а потом сделался сторожем. Последнее занятие ему нравилось больше всего. Летом и зимой он караулил сады и огороды. Чего же лучше: своя избушка, где всегда тепло; сыт, одет, и еще кое-какая прибьль навертывалась. Богач умел починять ведра, ушаты, кадочки, мастерил бабам коромысла, плел корзины и лапти, вырезывал из дерева ребятам игрушки. Одним словом, человек без работы не оставался и лучшего ничего не желал. Богачом его почему-то называли еще с детства, и эта кличка осталась на всю жизнь.

Снежная буря разыгралась. Несколько дней уже стояли морозы, а вчера оттепело, и начал падать мягкий снежок, который у охотников называется порошей. Начинаящую промерзать землю порошило молодым снежком. Поднявшийся к ночи ветер начал заметать канавы, ямы, ложбинки.

— Ну, Еремка, будет нам сегодня с тобой пожива,—повторил Богач, поглядывая в маленькое оконце своей сторожки.

Собака лежала на полу, положив голову между передних лап, и в ответ слегка вильнула хвостом. Она понимала каждое слово своего хозяина и не говорила только потому, что не умела говорить.

Было уже часов девять вечера. Ветер то стихал, то поднимался с новой силой. Богач не торопясь начал одеваться. В такую погоду неприятно выходить из теплой сторожки, но ничего не поделаешь, если уж такая служба. Богач считал себя чем-то вроде

чиновника над всеми зверями, птицами и насекомыми, нападавшими на сады, огороды. Он воевал с капустным червем, с разными гусеницами, портившими фруктовые деревья, с воробьями, галками, скворцами, дроздами-рябинниками, с полевыми мышами, кротами и зайцами.

И земля, и воздух были наполнены врагами, хотя большинство на зиму умирало или засыпало по своим норам и логовищам. Оставался только один враг, с которым приходилось Богачу воевать главным образом именно зимой. Это были зайцы.

— Как поглядеть—так один страх в ём, в зайце,—рассуждал Богач, продолжая одеваться.—А самый вредный зверь... Так, Еремка? И хитрый-прехитрый... А погодка-то как разгулялась: так и метет. Это ему, косому, самое первое удовольствие.

Нахлобучив шапку из заячьего меха, Богач взял длинную палку и сунул за голенище валенок, на всякий случай, нож. Еремка сильно потягивался и зевал. Ему тоже не хотелось итти из теплой избушки на холод.

Сторожка Богача стояла в углу громадного фруктового сада. Сейчас за садом начинался крутой спуск к реке, а за рекой синел небольшой лесок, где главным образом гнездились зайцы. Зимой зайцам нечего было есть, и они перебегали через реку к селению. Самым любимым местом для них были гумна, окруженные хлебными кладами. Здесь они кормились, подбирая упавшие со стогов колосья, а иногда забирались в самые клады, где для них было уж настоящее раздолье, хотя и не без опасности. Но всего больше нравилось зайцам полакомиться в фруктовых садах молодыми саженцами и побегами яблонь, слив и вишен. Ведь у них такая нежная и вкусная кора, не то что на осине или других деревьях. В один удачный набег зайцы портили иногда целый сад, несмотря на все предосторожности. Только один Богач умел с ними справиться, потому что отлично знал все их повадки и хитрости. Много помогал старику Еремка, издали чуявший врага. Кажется, уж на что тихо крадется заяц по мягкому снегу в своих валенках, а Еремка лежит у себя в избушке и слышит. Вдвоем Богач и Еремка много ловили каждую зиму зайцев. Старик устраивал на них западни, капканы и разные хитрые петли, а Еремка брал прямо зубом.

Выйдя из избушки, Богач только покачал головой. Очень уж разыгралась погода и засыпала снегом все его ловушки.

— Видно, придется тебе, Еремка, итти под гору,—говорил

Богач смотревшей на него собаке.—Да, под гору... А я на тебя погоню зайцев. Понял? То-то... Я вот пойду по загульням, да и шугну их на тебя.

Еремка в ответ только слабо взвизгнул. Ловить зайцев под горой было для него самым большим удовольствием. Дело происходило так. Зайцы, чтобы попасть на гумна, пробегали из-за реки и поднимались на гору. Обратный путь для них уже шел под гору. А известно, что заяц лихо бежит в гору, а под гору, в случае опасности, скатывается кубарем. Еремка прятался под горой и ловил зайца именно в это время, когда заяц ничего не видел.

— Любишь зайчика-кубаря поймать?—дразнил собаку Богач.—Ну, ступай.

Еремка повилял хвостом и медленно пошел к селению, чтобы оттуда уже спуститься под гору. Умная собака не хотела пересекать заячью тропу. Зайцы отлично понимали, что значат следы собачьих лап на их дороге.

— Экая погодка-то, подумаешь!—ворчал Богач, шагая по снегу в противоположную сторону, чтобы обойти гумна.

Ветер так и гулял, разметая кругом облака крутившегося снега. Даже дыхание захватывало. По пути Богач осмотрел несколько занесенных снегом ловушек и настороженных петель. Снег засыпал все его хитрости.

— Ишь ты, какая причина вышла,—ворчал старик, с трудом вытаскивая из снега ноги.—В такую непогоду и зайцы по своим логовищам лежат... Только вот голод-то не тетка: день полежит, другой полежит, а на третий и пойдет промышлять себе пропитание. Он хоть и заяц, а брюхо-то—не зеркало...

Богач прошел половину дороги и страшно устал. Даже в испарину бросило. Ежели бы не Еремка, который будет ждать его под горой, старик вернулся бы в свою избушку. Ну их, зайцев, куда не денутся. Можно и в другой раз охоту устроить. Вот только перед Еремкой совестно: обмани его один раз, а в другой он и сам не пойдет. Пес умный и прегордый, хоть и пес. Как-то Богач побил его совсем напрасно, так тот потом едва помирился. Подожмет свой волчий хвост, глазами моргает и как будто ничего не понимает, что ему русским языком говорят. Хоть прощенья у него проси,—вот какой прегордый пес. А теперь он уже залег под горой и ждет зайцев.

Обойдя гумна, Богач начал „гон“ зайцев. Он подходил к гумну и стучал палкой по столбам, хлопал в ладоши и как-то особенно

фыркал, точно загнанная лошадь. В первых двух гумнах никого не было, а из третьего быстро мелькнули две заячьих тени.

— Ага, косая команда, не любишь!—торжествовал старик, продолжая свой обход.

И, удивительное дело, каждый раз одно и то же: уж, кажется, сколько зайцев придавил он с Еремкой, а все та же заячья ухватка. Точно и зайцы-то одни и те же. Ну, побеги он, заяц, в поле—и конец. Ищи его, как ветра в поле. Ан нет, он норовит непременно к себе домой, за реку, а там, под горой, его уж ждут Еремкины зубы...

Богач обошел гумна и начал спускаться с горы к реке. Его удивило, что Еремка всегда выбегал к нему навстречу, а теперь стоял как-то виновато на одном месте и, очевидно, поджидал его.

— Еремка, да что ты делаешь?

Собака слабо взвизгнула. Перед ней на снегу лежал на спине молоденький зайчик и бессильно болтал лапками.

— Бери его!.. Кусь!..—закричал Богач.

Еремка не двигался. Подбежав близко, Богач понял, в чем дело: молоденький зайчонок лежал с перешибленной передней лапкой. Богач остановился, снял шапку и проговорил:

— Вот так штука, Еремка!

II

— Ну и оказия!—удивлялся Богач, нагибаясь, чтобы лучше рассмотреть беззащитного зайчишку.—Эк тебя угораздило, братец ты мой! А? И совсем еще молоденький!

Заяц лежал на спинке и, повидимому, оставил всякую мысль о спасении. Богач ощупал перешибленную ногу и покачал головой.

— Вот оказия-то... Еремка, что мы с ним будем делать-то? Прирезать, што ли, чтобы понапрасну не маялся?

Но и прирезать было как-то жаль. Уж если Еремка не взял зубом калеку, посовестился, так ему, Богачу, подавно совестно беззащитную тварь убивать. Другое дело, если бы он в ловушку попал, а то больной зайчишка, и только.

Еремка смотрел на хозяина и вопросительно взвизгивал. Дескать, надо что-нибудь делать.

— Эге, мы вот что с ним сделаем, Еремка: возьмем его к себе в избушку. Куда он, хромой-то, денется? Первый волк его съест...

Богач взял зайца на руки и пошел в гору, Еремка шел за ним, опустив хвост.

— Вот тебе и добыча...—ворчал старик.—Откроем с Еремкой заячий лазарет. Ах ты, оказия!

Когда пришли в избу, Богач положил зайца на лавку и сделал перевязку сломанной лапки. Он, когда был пастухом, научился делать такие перевязки ягнятам.

Еремка внимательно следил за работой хозяина, несколько раз подходил к зайцу, обнюхивал его и отходил.

— А ты его не пугай,—объяснял ему Богач.—Вот привыкнет, тогда и обнюхивай.

Больной зайчик лежал неподвижно, точно человек, который приготовился к смерти. Он был такой беленький и чистенький, только кончики ушей точно были выкрашены черной краской.

— А ведь надо его покормить, беднягу,—думал вслух Богач.

Но заяц упорно отказывался есть и пить.

— Это он со страху,—объяснял Богач.—Уж завтра добуду ему свежей морковки да молочка.

В углу под лавкой Богач устроил зайцу из разного тряпья мягкое и теплое гнездо и перенес его туда.

— Ты у меня, Еремка, смотри, не пугай его,—уговаривал он собаку, грозя пальцем.—Понимаешь: хворый он.

Еремка, вместо ответа, подошел к зайцу и лизнул его.

— Ну, вот так, Еремка, значит, не будешь обижать? Так, так... Ведь ты у меня умный пес, только вот сказать не умеешь. С нас будет и здоровых зайцев.

Ночью Богачу плохо спалось. Он все прислушивался, не крадется ли к зайцу Еремка. Хоть и умный пес, а все-таки пес, и полагаться на него нельзя: как раз сцапает.

„Ах ты, оказия,—думал Богач, ворочаясь с боку на бок.—Уж, кажется, достаточно нагляделся на зайцев. Не одну сотню их переколотил, а вот этого жаль. Совсем ведь глупый еще, несмышлениш“.

И во сне Богач видел загубленных им зайцев. Он даже просыпался и прислушивался к завывавшей буре. Ему казалось, что к избушке сбежались все убитые им зайцы, лопочут, по снегу кувыркаются, стучат в дверь передними лапками. Старик не утерпел, слез с печи и выглянул из избушки. Никого нет, а только ветер гуляет по полю и гудит на все голоса.

— Ах ты, оказия!—ворчал старик, забираясь на теплую печку.

Просыпался он, по-стариковски, ранним утром, загоплял печь и приставлял к огню какое-нибудь варево—похлебку, старых щец, кашку-размазню. Сегодня было, как всегда. Заяц лежал в своем уголке неподвижно, точно мертвый, и не притронулся к еде, как его Богач ни угощал.

— Ишь ты какой важный барин,—корил его старик.—А ты вот попробуй кашки гречушной—лапка-то и срастется. Право, глупый... У меня кашу-то и Еремка вот как уплетает, за ушами пищит.

Богач прибрал свою избушку, закусил и пошел в деревню.

— Ты у меня смотри, Еремка,—наказывал он Еремке.—Я-то скоро вернусь, а ты зайца не пугай.

Пока старик ходил, Еремка не тронул зайца, а только съел у него все угощение—корочки черного хлеба, кашу и молоко. В благодарность он лизнул зайца прямо в мордочку и принес в награду из своего угла старую обглоданную кость. Еремка всегда голодал, даже когда ему случалось съесть какого-нибудь зайчонка. Когда Богач вернулся, он только покачал головой: какой хитрый зайчишка: когда угощают, так он и не смотрит, а когда ушли, так все дотла поел.

— Ну и лукавец!—удивлялся старик.—А я тебе гостинца принес, косому плуту.

Он достал из-за пазухи несколько морковок, пару кочерыжек, репку и свеклу. Еремка лежал на своем месте как ни в чем не бывало; но когда он облизнулся, вспомнив съеденное у зайца угощение, Богач понял его коварство и принялся его журить:

— И не стыдно тебе, старому плуту... а? Что, не едал ты каши? Ах, ненасытная утроба!

Когда старик увидел валявшуюся перед зайцем кость, он не мог удержаться от смеха. Вот так Еремка, тоже сумел угостить! Да не хитрый ли плутище?!

Заяц отдохнул за ночь и перестал бояться. Когда Богач дал ему морковку, он с жадностью ее съел.

— Эге, брат, вот так-то лучше будет! Это, видно, не Еремкина голая кость. Будет чваниться-то. Ну-ка, еще репку попробуй.

И репка была съедена с тем же аппетитом.

— Да ты у меня совсем молодец!—хвалил старик.

Когда совсем рассветало, в дверь послышался стук, и тоненький детский голосок проговорил:

— Дедушка, отвори... Смерть как замерзла!

Богач отворил тяжелую дверь и впустил в избушку девочку лет семи. Она была в громадных валенках, в материнской кацавейке и закутана рваным платком.

— Ах, это ты, Ксюша... Здравствуй, птаха.

— Mamka послала тебе молочка... не тебе, а зайцу...

— Спасибо, красавица...

Он взял из покрасневших на морозе детских ручонек небольшую крынку молока и поставил ее бережно на стол.

— Ну, вот мы и с праздником. А ты, Ксюша, погрейся. Замерзла?

— Студено...

— Давай раздевайся. Гостья будешь. Зайчика пришла посмотреть?

— А то как же.

— Неужто не видала?

— Как не видать. Только я-то видела летних зайцев, когда они серые, а этот совсем белый у тебя.

Ксюша разделась. Это была самая обыкновенная деревенская белоголовая девочка, загорелая, с тоненькой шейкой, тоненькой косичкой и тоненькими ручками и ножками. Мать одевала ее по старинному — в сарафан. Оно и удобно, и дешевле. Чтобы согреться, Ксюша попрыгала на одной ноге, грела дыханием окоченевшие ручонки и только потом подошла к зайчику.

— Ах, какой хорошенький зайчик, дедушка! Беленький весь, а только ушки точно оторочены черным.

— Это уж по зиме все такие зайцы, беляки, бывают.

Девочка села около зайчика и погладила его по спинке.

— А что у него ножка завязана тряпочкой, дедушка?

— Сломана лапка, вот я и завязал ее, чтобы все косточки срослись.

— Дедушка, а ему больно было?

— Известно, больно.

— Дедушка, а заживет лапка?

— Заживет, ежели он будет смиренно лежать. Да он и лежит, не ворохнется. Значит, умный!

— Дедушка, а как его зовут?

— Зайца-то? Ну, заяц и есть заяц, — вот и все название.

— Дедушка, то другие зайцы, которые здоровые в поле бегают, а этот хроменький. Вон у нас кошку Машкой зовут.

Богач задумался и с удивлением посмотрел на Ксюшу. Ведь совсем глупая девчонка, а ведь правду сказала.

— Ишь ты, какая птаха... — думал он вслух. — И в самом деле, надо как-нибудь назвать, а то зайцев-то много... Ну, Ксюша, так как его мы назовем... а?

— Черное Ушко.

— Верно! Ах ты, умница! Значит, ты ему будешь в том роде, как крестная.

Весть о хромом зайце успела облететь всю деревню, и скоро около избышки Богача собралась целая толпа любопытных деревенских ребят.

— Дедушка, покажи зайчика! — просили.

Богач даже рассердился. Всех пустить зараз нельзя — не поместятся в избе, а по одному пускать — выстудят всю избу.

Старик вышел на крылечко и сказал:

— Невозможно мне показывать вам зайца, потому он хворый. Вот поправится, тогда и приходите, а теперь ступайте домой.

III

Через две недели Черное Ушко совсем выздоровел. Молодые косточки скоро срастаются. Он уже никого не боялся и весело прыгал по всей избе. Особенно ему хотелось вырваться на волю, и он сторожил каждый раз, когда открывалась дверь.

— Нет, брат, мы тебя не пустим, — говорил ему Богач. — Чего тебе на холоде мерзнуть да голодать? Живи с нами, а весной — с богом, ступай в поле. Только нам с Еремкой не попадайся.

Еремка, очевидно, думал то же самое. Он ложился у самой двери и, когда Черное Ушко хотел перепрыгнуть через него, скалил свои белые зубы и рычал. Впрочем, заяц его совсем не боялся и даже заигрывал с ним. Богач смеялся до слез над ними. Еремка растянется на полу во весь рост, закроет глаза, будто спит, а Черное Ушко начинает прыгать через него.

Увлечшись этой игрой, заяц иногда стучался головой о лавку и пачивал по-заячьи плакать, как плачут на охоте смертельно раненные зайцы.

— И точно младенец, — удивлялся Богач. — По-ребячьи и плачет. Эй, ты, Черное Ухо, ежели тебе своей головы не жаль, так пожалей хоть лавку. Она не виновата.

Эти увещания плохо действовали, и заяц не унимался. Еремка

тоже увлекался игрой и начинал гоняться по избе за зайцем, раскрыв пасть и высунув язык. Но заяц ловко увертывался от него. — Что, брат Еремка, не можешь его догнать? — подсмеивался над собакой старик. — Где тебе, старому! Только лапы понапрасну отобьешь.

Деревенские ребята частенько прибегали в избушку Богача, чтобы поиграть с зайчиком, и приносили ему что-нибудь из съестного. Кто тащил репку, кто морковку, кто свеклу или картошку. Черное Ушко принимал эти дары с благодарностью и тут же их съедал с жадностью. Ухватит передними лапками морковку, упадет к ней головой и быстро-быстро обгрызет, точно обточит. Он отличался большой прожорливостью, так что даже Богач удивлялся.

— И в которое место он ест такую прорву? Не велика скотинка, а все бы ел, сколько ему ни дай.

Чаще других бывала Ксюша, которую деревенские ребята прозвали „заячьей крестной“. Черное Ушко отлично ее знал, сам бежал к ней и любил спать у нее на коленях. Но он же и отплатил ей самой черной неблагодарностью. Раз, когда Ксюша уходила домой, Черное Ушко с быстротой молнии шмыгнул в дверях около ее ног — и был таков. Еремка сообразил, в чем дело, и бросился в погоню.

— Как же, ищи ветра в поле! — посмеялся над ним Богач. — Он похитрее тебя будет. А ты, Ксюша, не реви. Пусть он побегает, а потом сам вернется. Куда ему деться?

— Наши деревенские собаки его разорвут, дедушка.

— Так он и побежал тебе в деревню. Он прямо махнул за реку, к своим. Так и так, мол, жив и здоров, имею собственную квартиру и содержание. Побегает, поиграет и назад придет, когда есть захочет. А Еремка-то, глупый, бросился его ловить... Ах, глупый пес!

„Заячья крестная“ все-таки ушла домой со слезами, да и сам старый Богач мало верил тому, что говорил. И собаки по дороге могут разорвать, и у себя дома лучше покажется. А тут еще Еремка вернулся домой усталый, виноватый, с опущенным хвостом. Старому Богачу сделалось даже жутко, когда наступил вечер. А вдруг Черное Ушко не придет? Еремка лег у самой двери и прислушивался к каждому шороху. Он тоже ждал. Обыкновенно Богач разговаривал с собакой, а тут молчал. Они понимали друг друга без слов.

Наступил вечер. Богач засиделся за работой дольше обыкновенного. Когда он уже хотел ложиться спать на свою печь, Еремка радостно взвизгнул и бросился к двери.

— Ах, косою вернулся из гостей домой!

Это был действительно он, Черное Ушко. С порога он прямо бросился к своей чашке и принялся пить молочко, потом съел кочерыжку и две морковки.

— Что, брат, в гостях-то плохо тебя угощали? — говорил Богач, улыбаясь. — Ах ты, бесстыдник, бесстыдник! И крестную свою до слез довел.

Еремка все время стоял около зайца и ласково помахивал хвостом. Когда Черное Ушко съел все, что было в чашке, Еремка облизал ему морду и начал искать блох.

— Ах вы, озорники! — смеялся Богач, укладываясь на печи. — Видно, правду пословица говорит: вместе тесно, а врозь скучно.

Ксюша прибежала на другое утро чем-свет и долго целовала Черное Ушко.

— Ах ты, бегун скверный! — журила она его. — Вперед не бегай, а то собаки разорвут. Слышишь, глупый? Дедушка, а ведь он все понимает!

— Еще бы не понимать, — согласился Богач, — не бойсь, вот как знает, где его кормят.

После этого случая за Черным Ушком уже не следили. Пусть его убегает поиграть и побегать по снежку. На то он и заяц, чтобы бегать.

Месяца через два Черное Ушко совсем изменился: и вырос, и потолстел, и шерсть на нем начала лосниться. Он вообще доставлял много удовольствия своими шалостями и веселым характером, и Богачу казалось, что и зима нынче как-то скорее прошла. Одно только было нехорошо. Охота на зайцев давала Богачу порядочный заработок. За каждого зайца он получал по четвертаку, а это большие деньги для бедного человека. В зиму Богач убивал штук сто. А теперь выходило так, как будто и совестно губить глупых зайцев, совестно перед Черным Ушком.

Вечером Богач и Еремка уходили на охоту крадучись и никогда не вносили в избу убитых зайцев, как прежде, а прятали их в снях.

Даже Еремка это понимал, и когда в награду за охоту получал заячьи внутренности, то уносил их куда-нибудь подалее от сторожки и съедал потихоньку.

— Что, брат, совестно? — шутил над ним старик. — Оно, конечно, заяц — тварь вредная, озорная, а все-таки оно того... может, и в ём своя заячья душонка тоже есть, так, плохонькая совсем душонка.

Зима прошла как-то особенно быстро. Наступил март. По утрам крыши обрастали блестящей бахромой из ледяных сосулек. Показались первые проталинки. Почки на деревьях начали бухнуть и наливаться. Прилетели первые грачи. Все кругом обновлялось и готовилось к наступающему лету, как к празднику. Один Черное Ушко был невесел. Он начал пропадать из дому все чаще и чаще, похудел, перестал играть, а вернется домой, — наестся и целый день спит в своем гнезде под лавкой.

— Это он линяет, ну вот ему и скучно, — объяснял Богач. — По весне-то зайцев не бьют по этому самому... Мясо у него тощее, шкурка как молью подбита. Одним словом, как есть ничего не стоит.

Действительно, Черное Ушко начал менять свою зимнюю белую шубку на летнюю серую. Спинка сделалась уж серой, уши, лапки тоже, и только брюшко оставалось белым. Он любил выходить на солнышко и подолгу грелся на завалинке.

Раз прибежала Ксюша проведать Черное Ушко, но его не было дома уже целых три дня.

— Теперь ему и в лесу хорошо, вот и ушел, пострел, — объяснял Богач пригорюнившейся девочке. — Теперь зайцы почку едят, ну а на проталинках и зеленую травку ущипнут. Вот ему и любопытно.

— А я ему молочка принесла, дедушка...

— Ну, молочко мы и без него съедим.

Еремка вертелся около Ксюши и лаял на опустевшее под лавкой заячье гнездо.

— Это он тебе жалуется, — объяснял Богач. — Хотя и пес, а все-таки обидно. Всех нас обидел, пострел.

— Он недобрый, дедушка, — говорила Ксюша со слезами на глазах.

— Зачем недобрый? Просто заяц, и больше ничего. Лето погуляет, пока еда в лесу есть, а к зиме, когда нечего будет есть, и вернется сам. Вот увидишь. Одним словом, заяц.

Черное Ушко пришел еще раз, но к самой сторожке не подошел, а сел пеньком и смотрит издали. Еремка подбежал к нему, лизнул в морду, повизжал, точно приглашая в гости, но Черное

Ушко не пошел. Богач поманил его, но он оставался на своем месте и не двигался.

— Ах, пострел! — ворчал старик. — Ишь, сразу зазнался, косою.

IV

Прошла весна. Наступило лето. Черное Ушко не показывался. Богач даже рассердился на него.

— Ведь мог бы как-нибудь забежать на минутку. Кажется, немного дела и время найдется.

Ксюша тоже сердилась. Ей было обидно, что она целую зиму так любила такого нехорошего зайца. Еремка молчал, но тоже был недоволен поведением недавнего приятеля.

Прошло лето. Наступила осень. Начались заморозки. Перепадал первый мягкий, как пух, снежок. Черное Ушко не показывался.

— Придет косою, — утешал Богач Еремку. — Вот погоди: как занесет все снегом, нечего будет есть, ну и придет. Верно тебе говорю.

Но выпал и первый снег, а Черное Ушко не показывался. Богачу сделалось даже скучно. Что же это, в самом деле: уж нынче и зайцу нельзя поверить, не то что людям!

Однажды утром Богач что-то мастерил около своей избушки, как вдруг послышался далекий шум, а потом выстрелы. Еремка насторожился и жалобно взвизгнул.

— Батюшки, да ведь это охотники поехали стрелять зайцев! — проговорил Богач, прислушиваясь к выстрелам, доносившимся с того берега реки. — Так и есть. Ишь как запаливают! Ох, убьют они Черное Ушко! Непременно убьют!

— Старик, как был, без шапки побежал к реке. Еремка летел впереди.

— Ох, убьют! — повторял старик, задыхаясь на ходу. — Опять стреляют.

С горы было все видно. Около лесной заросли, где водились зайцы, стояли на известном расстоянии охотники, а из лесу на них гнали дичь загонщики. Вот затрещали деревянные трещотки, поднялся страшный гам и крик, и показались из заросли перепуганные, оторопелые зайцы. Захлопали ружейные выстрелы, и Богач закричал не своим голосом:

— Батюшки, погодите!! Убьете моего зайца! Ой, батюшки!!

До охотников было далеко, и они ничего не могли слышать, но Богач продолжал кричать и махал руками. Когда он подбежал, загон уже кончился. Было убито около десятка зайцев.

— Батюшки, что вы делаете? — кричал Богач, подбегая к охотникам.

— Как что? Видишь, зайцев стреляем.

— Да ведь в лесу-то мой собственный заяц живет...

— Какой твой?

— Да так... Мой заяц, и больше ничего. Левая передняя лапка перешиблена... Черное Ушко...

Охотники засмеялись над сумасшедшим стариком, который умолял их не стрелять со слезами на глазах.

— Да нам твоего зайца совсем не надо, — пошутил кто-то. — Мы стреляли только своих.

— Ах, барин, барин! Нехорошо... Даже вот как нехорошо...

Богач осмотрел всех убитых зайцев, но среди них Черного Ушка не было. Все были с целыми лапками.

Охотники посмеялись над стариком и пошли дальше по лесной опушке, чтобы начать следующий загон.

Посмеялись над Богачом и загонщики, ребята-подростки, набранные из деревни, посмеялся и егерь Терентий, тоже знакомый мужик.

— Помутился немножко разумом наш Богач, — пошутил еще Терентий. — Этак каждый начнет разыскивать по лесу своего зайца.

Для Богача наступало время охоты на зайцев, но он все откладывал. А вдруг в ловушку попадет Черное Ушко? Пробовал он выходить по вечерам на гумна, где кормились зайцы, и ему казалось, что каждый пробегающий мимо заяц — Черное Ушко.

— Да ведь Еремка-то по запаху узнает его, на то он пес, — решил он. — Надо попробовать.

Сказано — сделано. Раз, когда поднялась непогода, Богач отправился с Еремкой на охоту. Собака пошла под гору как-то неохотно и несколько раз оглядывалась на хозяина.

— Ступай, ступай, нечего лениться, — ворчал Богач.

Он обошел гумна и погнал зайцев. Выскочило зараз штук десять.

„Ну, будет Еремке пожива“, думал старик.

Но его удивил собачий вой. Это выл Еремка, сидя под горой на своем месте. Сначала Богач подумал, что собака взбесилась,

и только потом понял, в чем дело: Еремка не мог различить зайцев. Каждый заяц ему казался Черным Ушком. Сначала старик рассердился на глупого пса, а потом проговорил:

— А ведь правильно, Еремка, даром что глупый пес. Верно, шабаш нам зайцев душить. Будет.

Богач пошел к хозяину фруктового сада и отказался от своей службы.

— Не могу больше, — коротко объявил он.





... выходять по вечерам на гумна, где кормились зайцы, и ему каза-
лось, что какой-то пробегающий мимо заяц — Черное Ушко.
— Да ведь Бремка-то по запаху узнает его, да то, он бес-
решачит: — Надо попробовать.

Сказав — сделал. Р **ПРИЕМЫШ** ... непогода. Богач от-
правился с Бремкой на охоту. ... под гору ... по-
елотво и несколько *(Из рассказов старого охотника)*

— Ступай, ступай, ничего не ... — говорил Богач.
Он обогнал гумна и ...

Дождливый летний день. Я люблю в такую погоду бродить по
лесу, особенно когда впереди есть теплый уголок, где можно об-
сушиться и обогреться. Да к тому же летний дождь — теплый.
В городе в такую погоду — грязь, а в лесу земля жадно впитыв-

вает влагу, и вы идете по чуть отсыревшему ковру из прошлогоднего палого листа и осыпавшихся игл сосны и ели. Деревья покрыты дождевыми каплями, которые сыплются на вас при каждом движении.

А когда выглянет солнце после такого дождя, лес так ярко зеленеет и весь горит алмазными искрами. Что-то праздничное и радостное кругом вас, и вы чувствуете себя на этом празднике желанным, дорогим гостем.

Именно в такой дождливый день я подходил к Светлому озеру, к знакомому сторожу на рыбацкой сайме¹ Тарасу. Дождь уже редел. На одной стороне неба показались просветы; еще немножко, и покажется горячее летнее солнце.

Лесная тропинка сделала крутой поворот, и я вышел на отлогий мыс, вдававшийся широким языком в озеро. Собственно, здесь было не самое озеро, а широкий проток между двумя озерами, и сайма приткнулась в излучине на низком берегу, где в заливчике ютились рыбацкие лодки.

Проток между озерами образовался благодаря большому лесистому острову, разлегшемуся зеленой шапкой напротив саймы.

Мое появление на мысу вызвало сторожевой оклик собаки Тараса, — на незнакомых людей она всегда лаяла особенным образом, отрывисто и резко, точно сердито спрашивала: кто идет?

Я люблю таких простых собачонок за их необыкновенный ум и верную службу.

Рыбачья избушка издали казалась повернутой вверх дном большой лодкой, — это горбилась старая деревянная крыша, проросшая веселой зеленой травой. Кругом избушки поднималась густая поросль из иван-чая, шалфея и „медвежьих дудок“, так что у подходившего к избушке человека виднелась одна голова. Такая густая трава росла только по берегам озера, потому что здесь достаточно было влаги и почва была жирная.

Когда я подходил уже совсем к избушке, из травы кубарем вылетела на меня пестрая собачонка и залилась отчаянным лаем. — Соболько, перестань... Не узнал?

Соболько остановился в раздумье, но, видимо, еще не верил в старое знакомство. Он осторожно подошел, обнюхал мои охотничьи сапоги и только после этой церемонии виновато завилял и волосом на голове сохранились. Загорелась!

¹ Саймой на Урале называют рыбацкие стоянки.

хвостом. Дескать, виноват, ошибся, а все-таки я должен стеречь избушку.

Избушка оказалась пустой. Хозяина не было, то есть он, вероятно, отправился на озеро осматривать какую-нибудь рыболовную снасть.

Кругом избушки все говорило о присутствии живого человека: слабо курившийся огонек, охапка только что нарубленных дров, сушившаяся на кольях сеть, топор, воткнутый в обрубок дерева.

В приотворенную дверь саймы виднелось все хозяйство Тараса: ружье на стене, несколько горшков на припечке, сундучок под лавкой, развешанные снасти. Избушка была довольно просторная, потому что зимой во время рыбного лова в ней помещалась целая артель рабочих.

Летом старик жил один. Несмотря ни на какую погоду, он каждый день жарко натапливал русскую печь и спал на полатях. Эта любовь к теплу объяснялась почтенным возрастом Тараса: ему было около девяноста лет. Я говорю „около“, потому что сам Тарас забыл, когда он родился. „Еще до француза“, как объяснял он, то есть до нашествия французов в Россию в 1812 году.

Сняв намокшую куртку и развесив охотничьи доспехи по стенке, я принялся разводить огонь. Соболько вертелся около меня, предчувствуя какую-нибудь поживу. Весело разгорелся огонек, пустив кверху синюю струйку дыма.

Дождь уже прошел. По небу неслись разорванные облака, роняя редкие капли. Кое-где синели просветы неба. А потом показалось и солнце, горячее июльское солнце, под лучами которого мокрая трава точно задымилась. Вода в озере стояла тихо-тихо, как это бывает только после дождя. Пахло свежей травой, шалфеем, смолистым ароматом недалеко стоявшего сосняка. Вообще, хорошо, как только может быть хорошо в таком глухом лесном уголке. Направо, где кончался проток, синела гладь Светлого озера, а за зубчатой каймой поднимались горы. Чудный уголок! И недаром старый Тарас прожил здесь целых сорок лет. Где-нибудь в городе он не прожил бы и половины, потому что в городе не купишь ни за какие деньги такого чистого воздуха, а главное — этого спокойствия, которое охватывало здесь.

Хорошо на сайме!..

Весело горит яркий огонек; начинает припекать горячее солнце, глазам больно смотреть на сверкающую даль чудного озера.

Так сидел бы здесь и, кажется, не расстался бы с чудным лесным привольем. Мысль о городе мелькает в голове, как дурной сон.

В ожидании старика я прикрепил на длинной палке медный походный чайник с водой и повесил его над огнем. Вода уже начинала кипеть, а старика все не было.

— Куда бы ему деться? — раздумывал я вслух.

Снасти осматривают утром, а теперь полдень... Может быть, поехал посмотреть, не ловит ли кто рыбу без спроса?.. Соболю, куда девался твой хозяин?

Умная собака только виляла пушистым хвостом, облизывалась и нетерпеливо взвизгивала. По наружности Соболю принадлежала к типу так называемых „промысловых“ собак. Небольшого роста, с острой мордой, стоячими ушами и загнутым вверх хвостом, она, пожалуй, напоминала обыкновенную дворнягу, с той разницей, что дворняга не нашла бы в лесу белки, не сумела бы „облаять“ глухаря, выследить оленя, — одним словом, настоящая промысловая собака, лучший друг человека. Нужно видеть такую собаку именно в лесу, чтобы в полной мере оценить все ее достоинства.

Когда этот „лучший друг человека“ радостно взвизгнул, я понял, что он завидел хозяина. Действительно, в протоке черной точкой показалась рыбацья лодка, огибавшая остров. Это и был Тарас... Он плыл, стоя на ногах, и ловко работал одним веслом, — настоящие рыбаки все так плавают на своих лодках-однодеревках, называемых не без основания „душегубками“. Когда он подплыл ближе, я заметил, к удивлению, плывшего перед лодкой лебедя.

— Ступай домой, гуляка! — ворчал старик, подгоняя красиво плывшую птицу. — Ступай, ступай... Вот я тебе дам... уплыть бог знает куда... Ступай домой, гуляка!

Лебедь красиво подплыл к сайме, вышел на берег, встряхнулся и, тяжело переваливаясь на своих кривых черных ногах, направился к избушке.

II

Старик Тарас был высокого роста, с окладистой седой бородой и строгими большими серыми глазами. Он все лето ходил босой и без шляпы. Замечательно, что у него все зубы были целы и волосы на голове сохранились. Загорелое широкое лицо было изборождено глубокими морщинами. В жаркое время он ходил в одной рубахе из крестьянского синего холста.

— Здравствуй, Тарас!

— Здравствуй, барин!

— Откуда бог несет?

— А вот за Приемышем плавал, за лебедем... Все тут вертелся, в протоке, а потом вдруг и пропал. Ну, я сейчас за ним. Выехал в озеро — нет; по заводям проплыл — нет; а он за островом плавает.

— Откуда достал-то его, лебеда?

— А бог послал, да!.. Тут охотники из господ наезжали; ну, лебеда с лебедушкой и пристрелили, а вот этот остался. Забился в камыши и сидит. Летать-то не умеет, вот и спрятался, ребячьим делом. Я, конечно, ставил сети подле камышей, ну и поймал его. Пропадет один-то, ястреба заедят, потому как смыслу в ём еще настоящего нет. Сирогой остался. Вот я его привез и держу. И он тоже привык... Теперь вот скоро месяц будет, как живем вместе. Утром на заре поднимется, поплавает в протоке, покормится, а потом и домой. Знает, когда я встаю, и ждет, чтобы покормили. Умная птица, одним словом, и свой порядок знает.

Старик говорил необыкновенно любовно, как о близком человеке. Лебедь приковывал к самой избушке и, очевидно, выжидал какой-нибудь подачки.

— Улетит он у тебя, дедушка, — заметил я.

— Зачем ему лететь? И здесь хорошо: сыт, кругом вода...

— А зимой?

— Перезимует вместе со мной в избушке. Места хватит, а нам с Соболькой веселей. Как-то один охотник забрел ко мне на сайму, увидал лебеда и говорит вот так же: „Улетит, ежели крылья не подрежешь“. А как же можно увечить божью птицу? Пусть живет, как ей от господа указано... Человеку указано одно, а птице — другое... Не возьму я в толк, зачем господа лебедей застрелили. Ведь и есть не станут, а так, для озорства...

Лебедь точно понимал слова старика и посматривал на него своими умными глазами.

— А как он с Соболькой? — спросил я.

— Сперва-то боялся, а потом привык. Теперь лебедь-то в другой раз у Собольки и кусок отнимет. Пес заворчит на него, а лебедь его — крылом. Смешно на них со стороны смотреть! А то гулять вместе отправятся: лебедь по воде, а Соболько по берегу. Пробовал пес плавать за ним, ну, да ремесло-то не то: чуть не потонул. А как лебедь уплывет, Соболько ищет его. Сядет на

бережку и воет... Дескать, скучно мне, псу, без тебя, друг сердечный. Так вот и живем втроем.

Я очень любил старика. Рассказывал он уж очень хорошо и знал много. Бывают такие хорошие, умные старики. Много летних ночей приходилось коротать на сайме, и каждый раз узнаешь что-нибудь новое. Прежде Тарас был охотником и знал места кругом верст на пятьдесят, знал всякий обычай лесной птицы и лесного зверя, а теперь не мог уходить далеко и знал одну свою рыбу.

На лодке плавать легче, чем ходить с ружьем по лесу, а особенно по горам. Теперь ружье оставалось у Тараса только по старой памяти да на всякий случай, если бы забежал волк. По зимам волки заглядывали на сайму и давно уже точили зубы на Сობольку. Только Сობольку был хитер и не давался волкам.

Я остался на сайме на целый день. Вечером ездили удить рыбу и ставили сети на ночь. Хорошо Светлое озеро, и недаром оно названо светлым: вода в нем совершенно прозрачная, так что плывешь на лодке и видишь все дно на глубине нескольких сажен. Видны и пестрые камушки, и желтый речной песок, и водоросли, видно, как и рыба ходит „руном“, то есть стадом.

Таких горных озер на Урале сотни, и все они отличаются необыкновенной красотой.

От других Светлое озеро отличалось тем, что прилегало к горам только одной стороной, а другой выходило в степь, где началась благословенная Башкирия. Кругом Светлого озера разлеглись самые привольные места, а из него выходила бойкая горная река, разливавшаяся по степи на целую тысячу верст.

Длиной озеро было до двадцати верст, да в ширину около десяти. Глубина достигала в некоторых местах сажен пятнадцати. Особенную красоту придавала ему группа лесистых островов. Один такой островок отделился на самую середину озера и назывался Голодаем, потому что, попав на него в дурную погоду, рыбаки не раз голодали по нескольку дней.

Тарас жил на Светлом уже сорок лет. Когда-то у него были и своя семья, и дом, а теперь он жил бобылем. Дети перемерли, жена тоже умерла, и Тарас безвыходно оставался на Светлом по целым годам.

— Не скучно тебе, дедушка? — спросил я, когда мы возвратились с рыбной ловли. — Жутко одинокому-то в лесу...

— Одному? Тоже и скажет барин... Я тут князь-князем живу. Все у меня есть... И птица всякая, и рыбка, и травка. Конечно,

говорить они не умеют, да я-то понимаю все. Сердце радуется в другой раз посмотреть на божью тварь... У всякой свой порядок и свой ум. Ты думаешь, зря рыбка плавает в воде или птица в лесу летает? Нет, у них заботы не меньше нашего... Эвон, погляди — лебедь-то дожидается нас с Соболькой. Ах, прокурат...

Старик ужасно был доволен своим Приемышем, и все разговоры в конце концов сводились на него.

— Гордая, настоящая царская птица, — объяснил он. — Помани его кормом, да не дай, — в другой раз и не подойдет. Свой характер тоже имеет, даром что птица... С Соболькой тоже себя очень гордо держит. Чуть что, сейчас крылом, а то и носом долбанет. Известно, пес в другой раз созорничать захочет, зубами норовит за хвост поймать, а лебедь его по морде... Это тоже не игрушка, чтобы за хвост хватать.

Я переночевал и утром на другой день собрался уходить.

— Ужо по осени приходи, — говорил старик на прощанье. — Тогда рыбу лучить будем с острогой... Ну, рябчиков постреляем. Осенний рябчик жирный.

— Хорошо, дедушка, приеду как-нибудь.

Когда я отходил, старик меня вернул.

— Посмотри-ка, барин, как лебедь-то разыгрался с Соболькой...

Действительно, стоило полюбоваться оригинальной картиной. Лебедь стоял, раскрыв крылья, а Соболько с визгом и лаем напал на него. Умная птица вытягивала шею и шипела на собаку, как это делают гуси. Старый Тарас от души смеялся над этой сценой, как ребенок.

III

В следующий раз я попал на Светлое озеро уже поздней осенью, когда выпал первый снег. Лес и теперь был хорош. Кое-где на березах еще оставался желтый лист. Ели и сосны казались зеленее, чем летом. Сухая осенняя трава выглядывала из-под снега желтой щеткой. Мертвая тишина царила кругом, точно природа, утомленная летней кипучей работой, теперь отдыхала. Светлое озеро казалось больше, потому что не стало прибрежной зелени. Прозрачная вода потемнела, и в берег с шумом била тяжелая осенняя волна...

Избушка Тараса стояла на том же месте, но казалась выше,

потому что не стало окружавшей ее высокой травы. Навстречу мне выскочил тот же Соболько. Теперь он узнал меня и ласково завилял хвостом еще издали. Тарас был дома. Он чинил невод для зимнего лова.

— Здравствуй, старина!..

— Здравствуй, барин!

— Ну, как поживаешь?

— Да ничего... По осени-то к первому снегу прихворнул малость. Ноги болели... К непогоде у меня завсегда так бывает.

Старик, действительно, имел утомленный вид. Он казался теперь таким дряхлым и жалким. Впрочем, это происходило, как оказалось, совсем не от болезни. За чаем мы разговорились, и старик рассказал свое горе.

— Помнишь, барин, лебедя-то?

— Приемыша?

— Он самый... Ах, хороша была птица! А вот мы опять с Соболькой остались одни... Да, не стало Приемыша!..

— Убили охотники?

— Нет, сам ушел... Вот как мне обидно это, барин!.. Уж я ли, кажется, не ухаживал за ним, я ли не возилея!.. Из рук кормил... Он ко мне и на голос шел. Плавает он по озеру, — я его кликну, он и подплывает. Ученая птица. И ведь совсем привыкла... да! Уж в заморозки грех вышел. На перелете стадо лебедей спустилось на Светлое озеро. Ну, отдыхают, кормятся, плавают, а я люблюсь. Пусть божья птица с силой соберется: не близкое место лететь... Ну, а тут и вышел грех. Мой-то Приемыш сначала сторонился от других лебедей: подплывает к ним и назад. Те гогочут по-своему, зовут его, а он домой... Дескать, у меня свой дом есть. Так дня три это у них было. Все, значит, переговариваются по-своему, по-птичьему. Ну, а потом, вижу, мой Приемыш затосковал... Вот, все равно как человек тоскует. Выйдет это на берег, встанет на одну ногу и начнет кричать. Да ведь как жалобно кричит... На меня тоску нагонит, а Соболько, дурак, волком воет. Известно, вольная птица, кровь-то сказалась...

Старик замолчал и тяжело вздохнул.

— Ну и что же, дедушка?

— Ах, и не спрашивай... Запер я его в избушку на целый день, так он и тут донял. Станет на одну ногу у самой двери и стоит, пока не сгонишь его с места. Только вот не скажет человеческим языком: „Пусти, дедушка, к товарищам. Они-то в теплую

сторону полетят, а что я с вами тут буду зимой делать?“ Ах ты, думаю, какая задача! Пустить — улетит за стадом и пропадет...

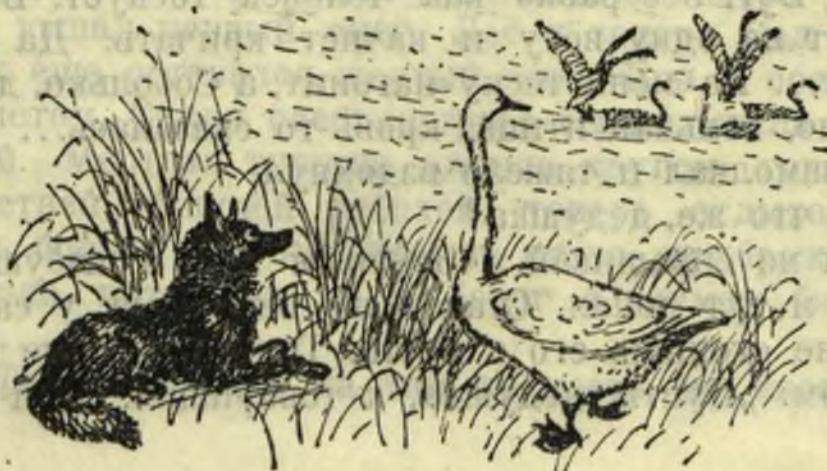
— Почему пропадет?

— А как же?... Те-то на полной воле выросли. Их, молодые которые, отец с матерью летать выучили. Ведь ты думаешь, как у них? Подрастут лебедята, — отец с матерью выведут их сперва на воду, а потом начнут учить летать. Иснодволь учат; все дальше да дальше. Своими глазами я видел, как молодых обучают к перелету. Сначала особняком учат, потом небольшими стаями, а потом уж сгрудятся в одно большое стадо. Похоже на то, как солдат муштруют... Ну, а мой-то Приемыш один вырос и почитай никуда не летал. Поплавает по озеру — только и всего ремесла. Где же ему перелететь? Выбьется из сил, отстанет от стада и пропадет. Не привычен к дальнему лету.

Старик опять замолчал.

— А пришлось выпустить, — с грустью заговорил он. — Все равно, думаю, ежели удержу его на зиму, затоскует и схиреет. Уж птица такая особенная. Ну, и выпустил. Пристал мой Приемыш к стаду, поплавал с ним день, а к вечеру опять домой. Так два дня приплывал. Тоже, хоть и птица, а тяжело с своим домом расставаться. Это он прощаться плавал, барин... В последний-то раз отплыл от берега этак сажен на двадцать, остановился и как, братец ты мой, крикнет по-своему. Дескать: „Спасибо, дедушка, за хлеб, за соль!..“ Только я его и видел. Остались мы опять с Собошкой одни. Первое-то время сильно мы оба тосковали. Спрошу его: „Собошко, а где наш Приемыш?“ А Собошко сейчас выть. Значит, жалеет. И сейчас на берег, и сейчас искать друга милдого... Мне по ночам все грезилось, что Приемыш-то тут вот пощелкает у берега и крылышками хлопает. Выйду — никого нет..

„Вот какое дело вышло, барин“.





МЕДВЕДКО

— Барин, хотите вы взять медвежонка?—предлагал мне мой кучер Андрей.

— А где он?

— Да у соседей. Им знакомые охотники подарили. Славный такой медвежонок, всего недель трех. Забавный зверь, одним словом.

— Зачем же соседи отдают, если он славный?

— Кто их знает. Я видел медвежонка: не больше рукавицы. И так смешно переваливает.

Я жил на Урале, в уездном городе. Квартира была большая. Отчего же и не взять медвежонка? В самом деле, зверь забавный. Пусть поживет, а там увидим, что с ним делать.

Сказано—сделано. Андрей отправился к соседям и через полчаса принес крошечного медвежонка, который, действительно, был не больше его рукавицы, с той разницей, что эта живая рукавица так забавно ходила на своих четырех ногах и еще забавнее тарасила такие милые синие глазенки.

За медвежонком пришла целая толпа уличных ребятишек, так что пришлось затворить ворота. Попав в комнаты, медвежонок нимало не смутился, а, напротив, почувствовал себя очень свободно, точно пришел домой. Он спокойно все осмотрел, обошел вокруг стен, все обнюхал, кое-что попробовал своей черной лапкой и, кажется, нашел, что все в порядке.

Мои гимназисты натащили ему молока, булок, сухарей. Медвежонок принимал все, как должное, и, усевшись в уголке на задние лапы, приготовился закусить. Он делал все с необыкновенной комичной важностью.

— Медведко, хочешь молочка?

— Медведко, вот сухарики.

— Медведко!..

Пока происходила вся эта суета, в комнату незаметно вошла моя охотничья собака, старый рыжий сеттер. Собака сразу почувствовала присутствие какого-то неизвестного зверя, вытянулась, ощетинулась, и не успели мы оглянуться, как она уже сделала стойку над маленьким гостем. Нужно было видеть эту картину: медвежонок забился в уголок, присел на задние лапки и смотрел на медленно подходившую собаку такими злыми глазенками.

Собака была старая, опытная, и поэтому она не бросилась сразу, а долго смотрела с удивлением своими большими глазами на непрошеного гостя,—эти комнаты она считала своими, а тут вдруг забрался неизвестный зверь, засел в угол и смотрит на нее, как ни в чем не бывало.

Я видел, как сеттер начал дрожать от волнения и приготовился схватить его. Если бы он бросился на малютку-медвежонка! Но вышло совсем другое, чего никто не ожидал. Собака посмотрела на меня, точно спрашивая согласия, и подвигалась вперед

медленными, рассчитанными шагами. До медвежонка оставалось всего каких-нибудь поларшина, но собака не решалась сделать последнего шага, а только еще сильнее вытянулась и сильно потянула в себя воздух: она желала, по собачьей привычке, сначала обнюхать неизвестного врага.

Но именно в этот критический момент маленький гость размахнулся и мгновенно ударил собаку правой лапой прямо по морде. Вероятно, удар был очень силен, потому что собака отскочила и завизжала.

— Вот так молодец Медведко!—одобрили гимназисты.—Такой маленький, и ничего не боится...

Собака была сконфужена и незаметно скрылась в кухню.

Медвежонок преспокойно съел молоко и булку, а потом забрался ко мне на колени, свернулся клубочком и замурлыкал, как котенок.

— Ах, какой он милый!—повторили гимназисты в один голос.—Мы его оставим у нас жить... Он такой маленький и ничего не может сделать.

— Что ж, пусть его поживет, — согласился я, любуясь притихшим зверьком.

Да и как было не любоваться!.. Он так мило мурлыкал, так доверчиво лизал своим черным языком мои руки и кончил тем, что заснул у меня на руках, как маленький ребенок.

Медвежонок поселился у меня и в течение целого дня забавлял публику, — как больших, так и маленьких. Он так забавно кувыр-кался, все желал видеть и везде лез. Особенно его занимали двери. Подковыляет, запустит лапу и начинает отворять. Если дверь не отворялась, он начинал забавно сердиться, ворчал и принимался грызть дерево своими острыми, как белые гвоздики, зубами.

Меня поражала необыкновенная подвижность этого маленького увальня и его сила. В течение этого дня он обошел решительно весь дом, и, кажется, не оставалось такой вещи, которой он не осмотрел бы, не понюхал и не полизал.

Наступила ночь. Я оставил медвежонка у себя в комнате. Он свернулся клубочком на ковре и сейчас же заснул.

Убедившись, что он успокоился, я загасил лампу и тоже приготовился спать. Не прошло четверти часа, как я стал засы-

пать, но в самый интересный момент мой сон был нарушен: медвежонок пристроился к двери в столовую и упорно хотел ее отворить. Я оттащил его раз и уложил на старое место. Не прошло полчаса, как повторилась та же история. Пришлось вставать и укладывать упрямого зверя во второй раз. Через полчаса — то же...

Наконец мне это надоело, да и спать хотелось. Я отворил дверь кабинета и пустил медвежонка в столовую. Все наружные двери и окна были заперты, следовательно, беспокоиться было нечего.

Но мне и в этот раз не привелось уснуть. Медвежонок забрался в буфет и загремел тарелками. Пришлось вставать и вытаскивать его из буфета, причем медвежонок ужасно рассердился, заворчал, начал вертеть головой и пытался укусить меня за руку. Я взял его за шиворот и отнес в гостиную. Эта возня мне начинала надоедать, да и вставать на другой день нужно было рано. Впрочем, я скоро уснул, позабыв о маленьком госте.

Прошел, может быть, какой-нибудь час, как страшный шум в гостиной заставил меня вскочить. В первую минуту я не мог сообразить, что такое случилось, и только потом все сделалось ясно: медвежонок разодрался с собакой, которая спала на своем обычном месте в передней.

— Ну и зверина! — удивлялся кучер Андрей, разнимая воевавших.

— Куда его мы теперь денем? — думал я вслух. — Он никому не даст спать целую ночь.

— А к гимназистам, — посоветовал Андрей. — Они его весьма даже уважают. Ну и пусть спит опять у них.

Медвежонок был помещен в комнате гимназистов, которые были очень рады маленькому квартиранту.

Было уже два часа ночи, когда весь дом успокоился.

Я был очень рад, что избавился от беспокойного гостя и мог заснуть. Но не прошло часа, как все повскакали от страшного шума в комнате гимназистов. Там происходило что-то невероятное... Когда я прибежал в эту комнату и зажег спичку, все объяснилось...

Посредине комнаты стоял письменный стол, покрытый клеенкой. Медвежонок по ножке стола добрался до клеенки, ухватил ее зубами, уперся лапами в ножку и принялся тащить что было мочи. Тащил, тащил, пока не стащил всю клеенку, вместе с ней —

лампу, две чернильницы, графин с водой и вообще все, что было разложено на столе. В результате—разбитая лампа, разбитый графин, розлиты по полу чернила, а виновник всего скандала забрался в самый дальний угол; оттуда сверкали только одни глаза, как два уголька.

Его пробовали взять, но он отчаянно защищался и даже успел укусить одного гимназиста.

— Что мы будем делать с этим разбойником?—взмолился я.—Это все ты, Андрей, виноват.

— Что же я, барин, сделал?—оправдывался кучер.—Я только сказал про медвежонка, а взяли-то вы. И гимназисты даже весьма его одобряли.

Словом, медвежонок не дал спать всю ночь.

Следующий день принес новые испытания. Дело было летнее, двери оставались незапертыми, и он незаметно прокрался во двор, где ужасно напугал корову. Кончилось тем, что медвежонок поймал цыпленка и задавил его. Поднялся целый бунт. Особенно негодовала кухарка, жалевшая цыпленка. Она накинулась на кучера, и дело чуть не дошло до драки.

На следующую ночь, во избежание недоразумений, беспокойный гость был заперт в чулан, где ничего не было, кроме ларя с мукой. Каково же было негодование кухарки, когда на следующее утро она нашла медвежонка в ларе: он отворил тяжелую крышку и спал самым мирным образом прямо в муке. Огорченная кухарка даже расплакалась и стала требовать расчета.

— Житья нет от поганого зверя,—объясняла она.—Теперь к корове подойти нельзя, цыплят надо запирать... муку бросить... Нет, пожалуйста, барин, расчет.

Признаться сказать, я очень раскаивался, что взял медвежонка, и очень был рад, когда нашелся знакомый, который его взял.

— Помилуйте, какой милый зверь!—восхищался он.—Дети будут рады. Для них—это настоящий праздник. Право, какой милый.

— Да, милый... —соглашался я.

Мы все вздохнули свободно, когда, наконец, избавились от этого милого зверя и когда весь дом пришел в прежний порядок.

Но наше счастье продолжалось недолго, потому что мой знакомый возвратил медвежонка на другой же день. Милый зверь накуролесил на новом месте еще больше, чем у меня. Забрался в экипаж, заложженный молодой лошадей, зарычал. Лошадь, конечно, бросилась стремглав и сломала экипаж. Мы попробовали вернуть медвежонка на первое место, откуда его принес мой кучер, но там отказались принять его наотрез.

— Что же мы будем с ним делать?—взмолился я, обращаясь к кучеру.—Я готов даже заплатить, только бы избавиться.

На наше счастье, нашелся какой-то охотник, который взял его с удовольствием.

О дальнейшей судьбе Медведка знаю только то, что он око-
лел месяца через два.



Было уже два часа ночи, когда весь дом уснул. В тот момент медвежонка привели в дом. Он был очень голоден и начал есть. Кучер, увидев это, испугался и позвал хозяина. Хозяин пришел и увидел медвежонка. Он был удивлен и испуган. Он спросил кучера, что случилось. Кучер рассказал ему о том, что медвежонка привели в дом. Хозяин решил, что медвежонка нужно выпустить. Он позвал охотника, который взял медвежонка. Охотник взял медвежонка и ушел. Медвежонка больше не видели.



НА ПУТИ

(Из рассказов старого охотника)

I

Мне пришлось заночевать почти на самом горном перевале, на правом берегу бойкой горной речонки. Ночлег был выбран проводником с расчетом, именно чтобы иметь защиту от холодного северного ветра. Охотник Артемий провел меня лишнюю версту, пока мы добрались до заветного уголка.

— Уютное место,—повторял он, утешая меня, так как я сильно устал и едва передвигал ноги.—Там, значит, промысловая избушка стояла. По осени или зимой охотники ночевали... Ну, теперь-то избушки нет, а место все-таки осталось.

Подъем по горному ущелью труден вообще, а уставшему человеку кажется бесконечным. Неизвестно кем протоптанная тропинка постоянно теряется в камнях. Ноги ступают неверно, дышать трудно, в висках стучит кровь. А тут еще почти над самой головой несутся низкие осенние облака; кругом серо, и быстро надвигается длинная осенняя ночь. Безыменная горная речка пробилась себе дорогу по каменистому дну ущелья и несетя вниз с глухим ропотом, точно сердится на те камни, которые загораживают ей путь. Растительности на этой высоте уже совсем мало. По скалам лепится только горная ель, искривленная, низкая, точно сгорбившийся человек, который с трудом карабкается на эти каменистые кручи. Самые камни покрыты разноцветными лишайниками; между камнями кое-где желтеет мох, и только изредка попадаются небольшие полянки, покрытые травой. Настоящий лес остался далеко внизу,—и густая трава и цветы. Между камнями топорщатся только каменки да изредка покажется фиолетовый колокольчик; трава—сухая и жесткая, как в болоте.

— Ну, вот мы и дома!—проговорил Артемий, когда мы вышли на небольшую поляну.

Ночевать в горах под открытым небом не особенно приятно, но делать нечего, приходилось мириться. Хорошо и то, что хоть не будет донимать холодный горный ветер. Я присел на большой камень и смотрел, как Артемий разводил огонь. Что может быть лучше огня, когда он горит в таком ущелье? Это—сама жизнь! Сидя у себя дома, не оценишь в достаточной мере всех благдеяний, которые дает человеку огонь. Недаром сложилась греческая легенда, что огонь был похищен с неба. В данном случае костер не только согревал нас, но и освещал. Я любовался всполохами красного пламени, расходящимися полосами света, то исчезающими, то появлявшимися очертаниями ближайших скал, камней и деревьев. Картина принимала фантастический характер, точно в какой-нибудь сказке.

— Вот мы и самовар на палочке поставим,—говорил Артемий, устраивая походный медный чайник над огнем.—Хорошо теперь чайку горяченького напиться... нет этого лучше: усталость как рукой снимет.

Я до того устал, что не мог даже отвечать Артемию. Кажется, взял бы лег, протянул натруженные ноги да так больше и не вставал бы. Даже горячий чай не соблазнял... Артемий был привычный человек и по целым неделям мог ходить по горам. Устроив над огнем чайник, он сейчас же принялся устраивать походную постель: срубил две елки, очистил хвою и разложил мягкие зеленые ветки по земле. Потом куда-то скрылся и вернулся с целой охапкой травы.

— Откуда это ты набрал травы?—удивился я.—Здесь такая трава не растет...

— А вот растет, барин. Избушка-то стояла; ну, от нее и пошла всякая трава... Это уж завсегда так бывает: где жилье, там и сорная трава растет. В горах-то сама она не растет, а за человеком придет... Сейчас видно, где стоянка была... Тоже и трава разная бывает, как все равно и люди... Одна трава сама идет в гору и под гору, а другая за человеком ползет.

Он выдернул из охапки несколько розовых цветов и показал мне.

— Вот этой травы здесь не было в третьем году, а теперь пришла,—объяснил он. По ту сторону Урала ее много растет по степи,—„татарским мылом“ называется. Ну там-то она у себя дома и другой вид имеет: высокая, цветы большие, а здесь она какая-то захирелая. Трудно ей...

— Почему трудно?

— А как же? Вот ты устал в гору подниматься, и травка тоже устает... Она ведь тоже идет; ну, а тут ее и холодным ветром обдувает, и морозит, и водой горной смывает. По ту сторону перевала этой травы совсем нет. Немножко уж ей осталось итти... Лет через десять переберется, а там, как спустится с горы, опять укрепитя.

— И много таких трав, которые идут через перевал?

— Есть достаточно... Только вот я не умею сказать, как они называются. Бролишь по горам, ну и примечаешь: тут одна трава, там другая, третья... Степная трава сама по себе, горная трава сама по себе. У каждой свой предел... По ту сторону Урала ковыли, полынь, а здесь их нет.

— Как же трава через горы идет?

— Мудреное это дело, барин... По божьей воле все делается. Может быть, другая травка не одну сотню лет переваливает через горы. Где ветром семечко перенесет, где птичка поможет, где

скотина али человек... В гору-то ей, ох как трудно подниматься! Ну, а под гору—живой рукой, потому вода сносит семечко. Точно человек, эта самая травка: под гору-то куда легче спускаться.

Охота поневоле способствовала развитию наблюдательности Артемия, хотя он и не мог назвать многих растений или называл их местными именами, как „татарское мыло“. Меня этот разговор очень заинтересовал, и я внимательно рассматривал траву, принесенную Артемием.

Артемий приготовил чай, и мы долго сидели около огня. Кругом было уже темно. Горные ночи холодны. Время от времени Артемий подбрасывал в костер хворост и сухие сучья, и пламя вырывалось красными языками. Я улегся на приготовленную постель, прикрылся сверху охотничьим пальто и мечтал с открытыми глазами.

— Как речонка сегодня шумит, Артемий!..

— А это она от осенних дождей разыгралась, барин. Летом-то пересыхает совсем, а теперь вот бурлит, точно настоящая река. Много таких речушек сбегает с перевала... Дальше-то вместе соберутся в озеро, а из озера уж настоящая река выбегает. Много таких горных озер, и глубокие...

Где-то прокуковала кукушка. Артемий вслух считал кукованье и остановился на двенадцати.

— Еще осталось мне двенадцать годов жить, — заметил он. — Бабья примета...

— Ты веришь этой примете?

— Верить — не верю, а бабы болтают... Ну, барин, пора и на боковую. И ты, поди, притомился за день-то. Утро вечера мудренее. Вот я тут на всю ночь топлива натаскал. Около огонька-то как-нибудь перебежусь, только бы дождь, грешным делом, не пошел.

Расположившись около огня, Артемий сейчас же заснул. Слышно было, как он ровно дышал. Я же лежал с открытыми глазами и мог только завидовать ему, потому что от сильного утомления, как говорится, сон был переломлен: хотелось спать и что-то мешало. В голове целыми вереницами тянулись самые разнообразные мысли. Я смотрел на горевший огонь и прислушивался к шуму бурлившей в двух шагах речонки. Куда она бежит, эта горная светлая вода? С перевала она спустится в озеро, из озера выльется степной большой рекой, а там дальше попадет в Тобол, в Обь, в Северный Ледовитый океан. На этом пути вода много

поработает: будет сносить песок и камни, будет подмывать берега, будет вертеть мельничные колеса, понесет на себе лодки и барки, будет поить людей и животных и кончит тем, что на севере превратится в ледяные горы. Работа воды вообще громадная. В течение тысяч лет она превращает целые скалы в песок и глину, делает громадные наносы и постепенно изменяет видимую поверхность земли.

II

Мне, вообще, что-то не спалось. Да и холодна эта осенняя ночь в горах. Около огня грелся один бок, а другой мерз. Нужно большую привычку, чтобы спать в такую ночь под открытым небом, и я долго поворачивался с боку на бок...

А безыменная речка все говорила и говорила... Я вслушиваюсь в ее шопот, и вот мне кажется, что я начинаю разбирать отдельные слова.

— Скорее, скорее...—казалось, шептала вода, журча по камням.—Ах, как далеко мне бежать! Нужно торопиться... Скоро наступит зима, и можно замерзнуть где-нибудь на дороге. Скорее, скорее... Я уж не в первый раз делаю этот путь. Добегу до моря, потом поднимусь кверху туманом, соберусь в тучи и вернусь опять сюда дождем или снегом... Ведь я везде нужна: без меня все бы умерло. Ах, скорее, скорее!..

— А я здесь полежу, пока ты путешествуешь,—лениво ответил большой камень, обросший лишайником.—Мне и здесь хорошо.

— Ах ты, лежебок!.. Вот погоди, как-нибудь весной я тебя скачу под гору!—бормотала вода.—Я уже много таких камней стащила вниз... Смешно даже смотреть, как тяжелые увальни кубарем летят под гору. Пока—до свиданья!.. Скорее, скорее!..

— Мне эта вода много неприятностей наделала,—проговорило усталым голосом „татарское мыло“.

— И мне тоже...—тоненькими голосами ответили какие-то зеленые травки.

— Я давно иду оттуда, из степи...—рассказывало „татарское мыло“.—Там у меня был хороший друг—ветер. Он разносил мое семя во все стороны. Да... А как я добрался до гор, и пошли неприятности. Вот уж больше пятидесяти лет взбираюсь на перевал и не могу пройти. По несколько лет иногда торчу на одном месте, а то и назад приходится спускаться. А все вода: то корни

у меня подмоет, то все семя унесет под гору... Вообще, очень трудно, господа.

— Трудно, трудно,—ответила зеленая травка.— У тебя и вид такой усталый. Впрочем, когда переберешься туда, через горы, там отдохнешь.

— Когда-то еще переберусь, братцы!..—ворчало „татарское мыло“.— А вы куда?

— Мы тоже на ту сторону перебираемся помаленьку... Ах, как трудно!.. Только бы перебраться... Там, говорят, очень хорошо.

— Где это хорошо?—спросил худенький желтый цветочек, спрятавшийся меж камнями.

— А по ту сторону гор...

— Ну, я оттуда иду и могу сказать, что не особенно-то... Я едва перелез через горы.

— А далеко еще до вершины?

— Порядочно... Я не один шел, да другие отстали на пол-дороге.

Тут все заговорили разом, так что я не мог разобрать, в чем дело. Больше всех волновалось „татарское мыло“.

— Не верьте ему!—повторяло оно с особенным азартом.— Я знаю—там хорошо... Иначе не стоило идти так далеко.

— Вот увидим... Да, увидим!—шептала скромная зеленая травка.— Недаром говорится, что там хорошо, где нас нет. Уж пошли, так нужно идти... Мы не какая-нибудь сорная трава, которой все равно, где ни расти. У нас своя дорога... да! А там увидим, что будет...

— А как у вас там, в степи?—спрашивал в свою очередь желтый цветочек.

— Ничего... Как кому, — кто что ищет...

— Мне бы где-нибудь около болота поселиться, — мечтал вслух желтый цветочек.— Я люблю сырые места...

— Ну, в степи тебе, пожалуй, трудно придется, потому что там мало воды. Там больше солонцы, а на них растут только ковыль да полынь... Впрочем, эти желтые цветы везде проберутся. Довольно нахальный народ...

Последнее замечание вызвало горячий спор, так что я даже проснулся. Да, все это был сон, но сон очень правдивый. Уже светало. Вершина горы была закутана густой мглой. Огонь погас, и я чувствовал, что продрог до костей.

— Артемий, вставай!..

Вода. Опиять весело загорелся огонь. Артемий вскипятил воду в чайнике. Мы на скорую руку выпили по стакану чаю и отправились на перевал — оставалась всего какая-нибудь верста. Правда, приходилось карабкаться порядочно, обходить большие камни и, вообще, преодолевать большие препятствия.

— Ну и дорожка!.. — ворчал Артемий, зевая спросонья.

Наконец мы поднялись на самый перевал. Небо несколько прояснилось, и можно было видеть далеко по ту и по эту сторону Урала. Мы стояли на самой границе, отделяющей Европу от Азии. Урал являлся громадным каменным порогом, через который с таким трудом азиатские растения переходили в Европу, а европейские — в Азию.



Некоторое время мы стояли на перевале, но ждали до вечера, и потому человеку: они хватались ветками за соседние деревья во время своего падения. Но все было напрасно: и слезы, и стон, и сопротивление!

Тысячи деревьев лежали мертвыми, как на поле сражения, а топор все продолжал **АМАНУ ВАЦЕН** — трупы свисали с хвостов, затем оголенные стволы разубрались на разные части и складывались в кучи, как в каменном карьере. Да, самые лучшие, самые красивые, самые ценные деревья лежали в беспорядке на земле. — Вот здесь рудыте, брати...

Упала одна ягода, и на яраде...



ЛЕСНАЯ СКАЗКА

I

У реки, в дремучем лесу, в один прекрасный зимний день остановилась толпа мужиков, приехавших на санях. Подрядчик обошел весь участок и сказал:

— Вот здесь рубите, братцы... Ельник отличный. Лет по сту каждому дереву будет...

Он взял топор и постучал обухом по стволу ближайшей ели.

Великолепное дерево точно застонало, а с мохнатых зеленых ветвей покатались комья пушистого снега. Где-то в вершине мелькнула белка, с любопытством глядевшая на необыкновенных гостей, а громкое эхо прокатилось по всему лесу, точно разом заговорили все эти зеленые великаны, занесенные снегом. Эхо замерло далеким шопотом, будто деревья спрашивали друг друга: „Кто это приехал? Зачем?..“

— Ну, а вот эта старушка никуда не годится... — прибавил подрядчик, постукивая обухом стоящую ель с громадным дуплом. — Она на половину гнилая.

— Эй, ты, невежа! — крикнула сверху Белка. — Как ты смеешь стучать в мой дом? Ты приехал только сейчас, а я прожила в дупле этой самой ели целых пять лет.

Она щелкнула зубами, распушила хвост и так зашипела, что даже самой сделалось страшно. А невежа-подрядчик не обратил на нее никакого внимания и продолжал указывать рабочим, где следовало начать порубку, куда складывать дрова и хворост...

Что было потом, трудно даже рассказать. Никакое перо не опишет того ужаса, который совершился в каких-нибудь две недели.

Сто лет рос этот дремучий ельник, и его не стало в несколько дней. Люди рубили громадные деревья и не замечали, как из свежих ран сочились слезы: они принимали их за обыкновенную смолу. Нет, деревья плакали безмолвными слезами, как люди, когда их придавит слишком сильное горе. А с каким стоном падали подрубленные деревья, как жалобно они трещали!.. Некоторые даже сопротивлялись, не желая поддаваться ничтожному человеку: они хватались ветвями за соседние деревья во время своего падения. Но все было напрасно: и слезы, и стоны, и сопротивление!

Тысячи деревьев лежали мертвыми, как на поле сражения, а топор все продолжал свое дело. Деревья-трупы очищались от хвои, затем оголенные стволы разрубались на равные части и складывались правильными рядами в поленницы дров. Да, самые обыкновенные поленницы, которые мы можем видеть везде, но не всегда думаем, сколько живых деревьев изрублено в такую поленницу и сколько нужно было долгих-долгих лет, чтобы такие деревья выросли.

Уцелела одна старая ель с дуплом, в котором жила старая Белка с своей семьей. Под этой елью рабочие устроили себе бала-

ган и спали в нем. Целые дни перед балаганом горел громадный костер, лизавший широким огненным языком нижние ветви развесистого дерева. Зеленая хвоя делалась красной, тлела, а потом оставались одни обгоревшие сучья, топорщившиеся, как пальцы. Старая Белка была возмущена до глубины души этим варварством и громко говорила:

— Для чего все это сделано?.. Кому мешал красавец-лес? Противные люди! Нарочно придумали железные топоры, чтобы рубить ими деревья... Кому это нужно, чтобы вместо живого, зеленого леса стояли какие-то безобразные поленницы? Не правда ли, старушка Ель?

— Я ничего не знаю и ничего не понимаю, — грустно ответила Ель, вздрагивая от ужаса. — Мое горе настолько велико, что я не могу даже подумать о случившемся... Лучше было погибнуть и мне вместе с другими, чтобы не видеть всего, что происходило у меня на глазах. Ведь все эти срубленные деревья — мои дети. Я радовалась, когда они были молодыми деревцами, радовалась, глядя, как они весело росли, крепили и поднимались к самому небу. Нет, это ужасно... Я не могу ни говорить, ни думать!.. Конечно, каждое дерево когда-нибудь должно погибнуть от собственной старости; но это совсем не то, когда видишь срубленными тысячи деревьев в расцвете сил, молодости и красоты.

Люди, срубившие деревья, почти совсем не говорили о них, точно все так было, как должно быть. Они заботились теперь о том, как бы поскорее вывезти заготовленные дрова и уехать самим. Может быть, их мучила совесть, а может быть, им надоело жить в лесу, — вернее, конечно, последнее.

К ним на помощь явились другие. Они в несколько дней сложили приготовленные дрова на возы и увезли, оставив одни пни и кучи зеленого хвороста. Вся земля была усыпана щепками и сором, так что зимнему Ветру стоило больших хлопот засыпать эту безобразную картину свежим пушистым снегом.

— Где же справедливость? — жаловалась Ветру старая Ель. — Что мы сделали этим злым людям с железными топорами?

— Они совсем не злые, эти люди, — ответил Ветер. — А, просто, ты многого не знаешь, что делается на свете.

— Конечно, я сижу дома, а не шатаюсь везде, как ты, — угрюмо заметила Ель, недовольная замечанием своего старого знакомого. — Да я и не желаю знать всех несправедливостей, какие делаются. Мне довольно своего домашнего дела.

— Ты, Ветер, много хвастаешься, — заметила в свою очередь старая Белка. — Что же ты можешь знать, когда должен постоянно лететь сломя голову все вперед? Потом ты делаешь часто большие неприятности и мне, и деревьям: нагонишь холоду, снегу...

— А кто летом гонит к вам дождевые облака? Кто весной обсушит землю? Кто?.. Нет, мне некогда с вами разговаривать! — еще более хвастливо ответил Ветер и улетел. — Прощайте пока...

— Самохвал!.. — заметила вслед ему Белка.

С Ветром у леса велись искони неприятные счеты, главным образом зимой, когда он приносил страшный северный холод и сухой, как толченное стекло, снег.

Деревья к северу поворачивались спиной и тянулись своими ветвями на юг, откуда веяло благодатным теплом. Но в густом лесу, где деревья защищали друг друга, Ветер мог морозить только одни вершины, а теперь он свободно гулял по вырубленному месту, точно хозяин, и это приводило старую Ель в справедливое негодование, как и Белку...

II

Наступила весна. Глубокий снег точно присел, потемнел и начал таять. Особенно скоро это случилось на новой поруби, где весеннее солнце припекало так горячо. В густом лесу, обступавшем порубь со всех сторон, снег еще оставался, а на поруби уже выступали проталины; снеговая вода сбегала ручьями к одному месту, где под толстым льдом спала зимним сном речка Безымянка.

— Что вы меня будите раньше времени? — ворчала она. — Вот снег в лесу стает, и я проснусь.

Но ее все-таки разбудили раньше. Проснувшись, Река не узнала своих берегов: везде было голо, и торчали одни пни.

— Что такое случилось? — удивлялась Речка, обращаясь к одиноко стоявшей старой Ели. — Куда девался лес?

Старая Ель со слезами рассказала старой приятельнице обо всем случившемся и долго жаловалась на свою судьбу.

— Что же я теперь буду делать? — спрашивала Речка. — Раньше лес задерживал влагу, а теперь все высохнет... Не будет

влаги — не будет и лесных ключиков с холодной водой. Вот горе!.. Чем я буду поить прибрежную траву, кусты и деревья? Я сама высохну с горя...

А весеннее солнце продолжало нагревать землю. Дохнул теплом первый весенний ветерок, прилетевший с теплого моря. Набухли почки на березах, а мохнатые ветви елей покрылись мягкими, светлыми почками. Это были молодые побеги новой хвои, выглянувшие зелеными глазками. Через мокрый, почерневший снег, точно изъеденный червями, пробился своей желтой головкой первый Подснежник и весело крикнул тоненьким голоском:

— Вот и я, братцы!.. Поздравляю с весной!

Прежде в ответ сейчас же слышался веселый шопот елей, кивавших своими ветвями первому весеннему гостю, а теперь все молчало кругом, так что Подснежник был неприятно удивлен таким недружелюбным приемом.

Когда развернулась цветочная почка и Подснежник глянул кругом желтым глазком, он ахнул от изумления: вместо знакомых деревьев, торчали одни пни; везде валялись кучи хвороста, щепы и сучья. Картина представлялась до того печальная, что Подснежник даже заплакал.

— Если бы я знал, то лучше остался бы сидеть под землей, — печально проговорил он, поворачиваясь на своей мохнатой ножке. — От леса осталось одно кладбище.

Старушка Ель опять рассказала про свое страшное горе, а Белка подтвердила ее слова. Да, зимой приехали люди с железными топорами и срубили тысячи деревьев, а потом изрезали их на дрова и увезли.

Не успел этот разговор кончиться, как показались перистые листья папоротников. В густом, дремучем лесу трава не растет, а мох и папоротник, — они любят полусвет и сырость. Их удивление было еще больше.

— Что же? Нам ничего не остается, как только уйти отсюда, — сурово проговорил самый большой Папоротник. — Мы не привыкли жариться на солнце...

— И уходите... — весело ответила зеленая Травка, выбившаяся откуда-то из-под сора нежными усиками.

— А ты откуда взялась? — сурово спросила старая Ель нежданую гостью. — Разве твое место здесь? Ступай на берег реки, к самой воде...

Весело засмеялась зеленая Травка на это ворчанье. Зачем

она пойдет, когда ей и здесь хорошо? Довольно и света, и земли, и воздуха. Нет, она остается именно здесь, на этой жирной земле, образовавшейся из перегнившей хвои, моха и сучьев.

— Как я попала сюда? Вот странный вопрос! — удивлялась Травка, улыбаясь. — Я приехала, как важная барыня... Меня привезли вместе с сеном, которое ели лошади: сено-то они съели, а я осталась. Нет, мне решительно здесь нравится... Вы должны радоваться, что я покрою все зеленым изумрудным ковром.

— Вот это мило! — заметила Белка, слушавшая разговор. — Пришла неизвестная да еще разговаривает. А, впрочем, что же, пусть растет пока, особенно, если сумеет закрыть все эти щепы и сор, оставленные дровосеками.

— Я никому не помешаю, — уверяла Травка. — Мне нужно так немного места... Сами будете потом хвалить. А вот вы лучше обратите внимание вон на те зеленые листочки, которые пробиваются из-под щеп: это Осина. Она вместе со мною приехала в сене, и мне всю дорогу было горько. По-моему, Осина самое глупое дерево: крепости в нем никакой, даже дрова из нее самые плохие, а разрастется так, что всех выживет.

— Ну, это уж из рук вон! — заворчала старая Ель. — Положим, старый ельник вырублен, но на его месте вырастут молодые елочки... Здесь наше старинное место, и мы его никому не уступим.

— Когда еще твои елочки вырастут, а осинник так разрастется, что все задушит, — объяснила Белка. — Я это видала на других порубях... Осина всегда занимает чужие места, когда хозяева уйдут... И вырастает она скоро, и неприхотлива, да и живет недолго. Пустое дерево, вечно что-то бормочет, а что — и не разберешь. Да и мне от него поживы никакой.

В одну весну на свежей поруби явились еще новые гости, которые и сами не умели объяснить, откуда явились сюда. Тут были и молодые рябинки, и черемухи, и тальники, и ольхи, и кусты смородины, и верба; все эти породы жались главным образом к реке, оттесняя одна другую, чтобы захватить местечко получше. Ссорились они ужасно, так что старая Ель смотрела на них, как на разбойников или мелких воришек, которые никак не могли разделить попавшуюся в руки лакомую добычу.

— Э, пусть их, — успокаивала ее Белка. — Пусть ссорятся и выгоняют друг друга. Нужно подождать, старушка. Только бы побольше уродилось шишек, а из шишек выпадет семя, и народятся маленькие елочки.

— У тебя только и заботы, что о шишках! — укорила Ель лукавую лакомку. — Всякому, видно, до себя...

Порубь заросла вся в одну весну и новой травой, и новыми древесными породами, так что о сумрачных папоротниках не было здесь и помину. В зеленой, сочной траве пестрели и фиолетовые колокольчики, и полевая розовая гвоздика, и голубые незабудки, и ландыши, и фиалки, и пахучий шалфей, и розовые стрелки иван-чая. Недавняя смерть сменилась яркой жизнью молодой поросли; а в ней зачирикала, засвистела и рассыпалась веселыми трелями разная мелкая птичка, которая не любит глухого леса и держится по опушкам и мелким зарослям. Приковылял в своих валенках и косой зайка, щипнул одну травку, попробовал другую, погрыз третью и весело сказал Белке:

— Это повкуснее будет твоих шишек... Попробуй-ка!..

III

С тех пор, как вырубили лес у реки, прошло уже несколько лет, и порубь сделалась неузнаваемой. С вершины старой Ели виднелось точно сплошное зеленое озеро, разлившееся в раме темного ельника, обступившего порубь со всех сторон зубчатой стеной. Старая Белка, бывшая свидетельницей порубки, успела в это время умереть, оставив целое гнездо молоденьких белочек, резвившихся и прыгавших в мохнатой зелени старой Ели.

— Посмотрите-ка, что там делается на реке, — просила старушка Ель своих бойких квартиранток. — Меня ужасно это беспокоит... Кажется, довольно здесь набралось всяких деревьев, а идут всё новые... Насильно лезут вперед, продираются, душат друг друга, — это меня удивляет! Мне, наконец, надоела эта суматоха и постоянные раздоры... Прежде было так тихо и чинно, каждое дерево знало свое место, а теперь точно с ума все сошли...

Белочки прыгали к реке и сейчас же приносили невеселый ответ:

— Плохо, бабушка Ель... По реке вверх поднимаются новые травы и цветы, новые кустарники, и все это стремится на порубь, чтобы захватить хоть какой-нибудь кусок земли.

— Э, пусть идут, мне теперь все равно, — печально шептала старушка Ель. — Мне и жить осталось недолго...

Время в лесу шло скорее, чем в городах, где живут люди.

Деревья считали его не годами, а десятками лет. Происходило это, вероятно, потому, что деревья живут гораздо дольше людей и растут медленнее. С другой стороны, существовали однолетние растения, для которых весь круг жизни совершался в одно лето: они рождались весной и умирали осенью. Кустарники жили десять — двадцать лет, а потом начинали хиреть, теряли листья и постепенно засыхали. Лиственные деревья жили еще дольше, но до ста лет выживали одни липы и березы, а осины, черемухи и рябины погибали, не дожив и половины. С лиственными деревьями пришли и свои травы, и цветы, и кустики — эта веселая, зеленая свита, которая не встречается в глухих хвойных лесах, где недостает солнца и воздуха и где могут жить одни папоротники, мхи и лишайники.

Главными действующими лицами на поруби являлись теперь река Безымянка и Ветер, — они вместе несли свежие семена новых растений и лесных пород, и таким образом происходило передвижение растительности. Через двадцать лет вся порубь заросла густым смешанным лесом, точно зеленая щетка. Посторонний глаз ничего здесь не разобрал бы, — так перемешались разные породы деревьев. Зеленая трава и цветы первыми покрыли свежую порубь, а теперь они должны были отступить на берег реки и лесные опушки, потому что в густой заросли им делалось душно, да и солнца нехватало.

Но среди светлой зелени лиственных пород скоро показались зеленые стрелки молодых елочек, — они целой семьей окружали старую дуплистую Ель и, точно дети, рассыпались по опушке оставшейся нетронутой стены старого, дремучего ельника.

— Не пускайте их! — кричала горькая Осина, шелестя своими дрожавшими листиками. — Это место наше... Вот как они продираются. Пожалуй, и нас выгонят...

— Ну, это еще мы посмотрим, — спокойно ответили зеленые березки. — А мы не дадим им свету... Загораживайте им солнце, отнимайте из земли все соки. Мы еще посмотрим, чья возьмет...

Завязалась отчаянная война, которая особенно страшна была тем, что она совершалась молча, без малейшего звука. Это была общая война лиственных пород против молодой хвойной поросли. Березы и осины протягивали свои ветви, чтобы загородить солнечные лучи, падавшие на молодые елочки.

Нужно было видеть, как томились без солнца эти несчастные елочки, как они задыхались, хирели и засыхали. Еще сильнее

шла война под землей, где в темноте неутомимо работали нежные корни, сосавшие питательную влагу. Корешки травы и цветов работали в самом верхнем слое почвы, глубже их зарывались корни кустарников, а еще глубже шли корни берез и молоденьких елочек. Там, в темноте, они переплетались между собой, как тонкие белые волосы.

— Дружнее работайте, детки! — ободряла их старая Ель. — Не теряйте времени...

Вся беда была в том, что березы росли быстрее елочек; но, с другой стороны, елочки оставались зелеными круглый год и пользовались одни светом и солнцем, пока березки спали зимним сном.

— Бабушка, нам трудно, — жаловались елочки каждую весну. — Одолеют нас березы летом. Они в одно лето вырастут больше, чем мы в два года.

— Имейте терпение, детки! Ничего даром не дается, а все добывается тяжелым трудом... Дружнее работайте!...

Кусты отступили первыми; им нечего было здесь делать. Они скромно исчезли, уступив место более сильным лесным породам. Молодому осиннику приходилось также плохо: его теснили березы.

— Вы это что же делаете? — спорили осины. — Мы прежде вас пришли сюда, а вы нас же начинаете выживать... Это бессовестно, господа!...

— Вы находите, что бессовестно? — смеялись веселые березки. — Только мы несколько не виноваты... Вас, все равно, выгонят отсюда вот эти елочки, как только они подрастут. Вы уж лучше уходите сами подбру-поздорову и поищите себе другого места. Только мешаете нам...

— Мы им мешаем?! Мы им мешаем?! — шептали огорченные листики бедной Осины. — Это называется просто нахальством. Вы пользуетесь правом сильного. Да... Когда-нибудь вы раскаетесь, когда самим придется плохо...

— Ах, отстаньте, надоели! Некогда нам разговаривать с вами...

Плохо пришлось осинкам, когда их загнали в самый угол поруби; с одной стороны на них наступал молодой березняк, а с другой — молодая еловая поросль.

— Батюшки, погибаем! — кричали несчастные осинки. — Господа, что же это такое? Двое на одного...

— Уходите! Уходите! — тысячами голосов кричали елочки. —

Вы нам только мешаете... Смешно плакать, когда идет война. Нужно уметь умирать с достоинством, если нет силы жить...

— А где же у нас рябины и черемухи? — спрашивал насмешник Ветер, прилетавший поиграть с молодыми березками. — Ах, бедные, они ушли совсем незаметно, чтобы никого не беспокоить...

Большой шалун был этот Ветер: каждую веточку по дороге нагнет, каждый листочек поцелует и с веселым свистом летит дальше. Ему и горя мало, как другие живут на свете, а только самому бы погулять. Правда, зимой в холод ему приходилось трудненько, и Ветер даже стонал и плакал, но ему никто не верил: это горе было только до первого весеннего луча.

IV

Прошло пятьдесят лет.

От старой поруби не осталось и следа. На ее месте поднималась зеленая рать молодых елей, рвавших в небо своими стрелками. Среди этой могучей хвойной зелени сиротами оставались кой-где старые березы, — на всю порубь их было не больше десятка.

Там, где торжествовали смерть и разрушение, теперь цвела молодая жизнь, полная силы и молодого веселья. В этой зелени выделялась своей побуревшей вершиной одна старая Ель.

— Ох, детки, плохо мне... — часто жаловалась старушка, качая своей бурой вершиной. — Не хорошо так долго заживаться на свете. По-моему, есть свой предел... Теперь я умру спокойно, в своей семье, а то совсем было осталась на старости лет одна-одинешенька.

— Бабушка, мы не дадим тебе умереть! — весело кричали молодые ели. — Мы тебя будем защищать и от ветра, и от холода, и от снега.

— Нет, детки, устала я жить... Довольно. Меня уж точат и черви, и жучки, а сверху разъедают кору лишайники.

— Тук! Тук!... — крикнул пестрый Дятел, долбивший старую Ель своим острым клювом. — Где жучки? Где червячки? Тук... тук... тук... Я им задам!... Тук... Не беспокойтесь, старушка, я их всех вытащу и скушаю... Тук!...

— Да ведь ты меня же долбишь, мою старую кору? — стонала Ель, возмущенная нахальством нового гостя. — Прежде в дупле

жили белки, так те шишки мои ели, а ты долбишь меня, мое деревянное тело. Ах, приходит, видно, мой конец.

— Ничего... Тук!.. Я только червячков добуду... Тук-тук-тук!..

Молодые елочки были возмущены бессовестностью дятла; но что поделаешь с нахалом, который еще уверяет, что трудится для пользы других. А старая Ель только вздрагивала, когда в ее дряблое тело впивался острый клюв. Да, пора умирать.

— Детки, расскажу я вам, как я попала сюда, — шептала старушка. — Давно это было... Мои родители жили там на горе, в камнях, где так свистит холодный Ветер. Трудно им приходилось, особенно по зимам... Больше всех обижал Ветер: как закрутит, как засвистит... Северная сторона у елей вся была голая, а нижние ветви стлались по земле. Трудно было и пищу добывать между камнями. Корни оплетали камни и крепко держались за них. Ель — неприхотливое дерево и крепкое, не боится ничего. Сосны и березы не смели даже взглянуть туда, где мои родители зеленели стройной четой. Выше их росла только болотная горная трава да мох... Красиво было там, на горе. Да... На такую высоту только изредка забегали белки да зайцы. Одна такая белка подобрала между камнями спелую еловую шишку и утащила сюда, в свой дом, а из этой шишки выросла я. Здесь привольнее, чем на горе, хоть и не так красиво. Вот моя история, детки... Долго я жила, и скажу одно, что мы, ели, самое крепкое дерево, а поэтому другие породы и не могут нас одолеть. Сосна тоже хорошее дерево, но не везде может расти... Вот пихты и кедры, те одного рода с нами и также ничего не боятся...

Все слушали старушку с приличным молчанием, а папоротники широко простирали свои листья-перья. В молодом лесу уже водворились сырость и вечная полумгла, какие необходимы этому красивому растению. О полевых цветах и веселой зеленой травке не было и помину, а от старых берез оставались одни гнилые пни, в которых жили мыши и землеройки. Следы поруби исчезли окончательно.

Настал и роковой день. Это было среди лета. С вечера еще Ветер нагнал темную тучу, которая обложила половину неба. Все притихло в ожидании грозы, и только изредка налетал Ветер. В воздухе сделалось душно. Весело журчала одна Безымянка: Ветер принесет ей новой воды. Обновилась и зеленая травка, которую несколько дней жгло солнце.

— Эй, берегись! — свистал Ветер, проносясь по верхушкам елей. — Я вас всех утешу, только стоять крепче.

Потом все стихло. Сделалось совсем темно. Где-то далеко грянул первый гром, а туча уже закрыла все небо. Сделалось темно. Ослепительно сверкнула молния, и раздался новый, страшный удар грома прямо над лесом. Где-то что-то затрещало и зашумело. Посыпались первые крупные капли дождя, и рванулся Ветер, а там новый удар грома.

Эта канонада продолжалась в течение целого часа, а когда она кончилась и буря пронеслась, — старая Ель лежала уже на земле. Она рухнула под тяжестью прожитых лет и старческого бессилия. Когда взошло солнце и под его лучами ярко заблестела омытая дождем зелень, не оказалось только одной бурой вершины старой Ели...





СЁРУШКА

I

Первый осенний холод, от которого пожелтела трава, привел всех птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далекий путь, и все имели такой серьезный, озабоченный вид. Да, нелегко перелететь пространство в несколько тысяч верст... Сколько бед-

ных птиц дорогой выбьется из сил, сколько погибнет от разных случайностей, — вообще, было о чем серьезно подумать.

Серьезная, большая птица, как лебеди, гуси и утки, собиралась в дорогу с важным видом, сознавая всю трудность предстоявшего подвига, а более всех шумели, суетились и хлопотали маленькие птички, как кулички-песочники, кулички-плавунчики, чернозобики, черныши, зуйки. Они давно уж собирались стайками и переносились с одного берега на другой по отмелям и болотам с такой быстротой, точно кто бросил горсть гороху. У маленьких птичек была такая большая работа...

Лес стоял темный и молчаливый, потому что главные певцы улетели, не дожидаясь холода.

— И куда эта мелочь торопится! — ворчал старый Селезень, не любивший себя беспокоить. — В свое время все улетим... Не понимаю, о чем тут беспокоиться.

— Ты всегда был лентяем, поэтому тебе и неприятно смотреть на чужие хлопоты, — объяснила его жена, старая Утка.

— Я был лентяем? Ты просто несправедлива ко мне, и больше ничего. Может быть, я побольше всех забочусь, а только не показываю вида. Толку от этого немного, если буду бегать с утра до ночи по берегу, кричать, мешать другим, надоедать всем.

Утка вообще была не совсем довольна своим супругом, а теперь окончательно рассердилась...

— Ты посмотри на других-то, лентяй! Вон наши соседи, гуси или лебеди, — любо на них посмотреть. Живут душа в душу... Небось, лебедь или гусь не бросит своего гнезда и всегда впереди выводка. Да, да... А тебе до детей и дела нет. Только и думаешь о себе, чтобы набить зоб. Лентяй, одним словом... Смотреть-то на тебя даже противно!

— Не ворчи, старуха!.. Ведь я ничего не говорю, что у тебя такой неприятный характер. У всякого есть свои недостатки... Я не виноват, что гусь — глупая птица и поэтому нянчится со своим выводком. Вообще мое правило — не вмешиваться в чужие дела. Зачем? Пусть всякий живет по-своему.

Селезень любил серьезные рассуждения, причем оказывалось как-то так, что именно он, Селезень, всегда прав, всегда умен и всегда лучше всех. Утка давно к этому привыкла, а сейчас волновалась по совершенно особенному случаю.

— Какой ты отец? — накинулась Утка на мужа. — Отцы заботятся о детях, а тебе — хоть трава не расти!

— Ты это о Серушке говоришь? Что же я могу поделать, если она не может летать? Я не виноват...

Серушкой они называли свою калеку-дочь, у которой было переломлено крыло еще весной, когда подкралась к выводку Лиса и схватила утенка. Старая Утка смело бросилась на врага и отбила утенка, но одно крылышко оказалось сломанным.

— Даже и подумать страшно, как мы покинем здесь Серушку одну, — повторяла утка со слезами. — Все улетят, а она останется одна-одинешенька. Да, совсем одна... Мы улетим на юг, в тепло, а она, бедняжка, здесь будет мерзнуть... Ведь она наша дочь, и как я ее люблю, мою Серушку! Знаешь, старик, останусь-ка я с ней зимовать здесь вместе...

— А другие дети?

— Те здоровы, обойдутся и без меня.

Селезень всегда старался замять разговор, когда речь заходила о Серушке. Конечно, он тоже любил ее, но зачем же напрасно тревожить себя? Ну, останется, ну, замерзнет, — жаль, конечно, а все-таки ничего не поделаешь. Наконец, нужно подумать и о других детях. Жена вечно волнуется, а нужно смотреть на вещи серьезно. Селезень про себя жалел жену, но не понимал в полной мере ее материнского горя. Уж лучше было бы, если бы тогда Лиса совсем съела Серушку: ведь все равно она должна погибнуть зимою.

II

Старая утка ввиду близившейся разлуки относилась к дочери-калеке с удвоенной нежностью. Бедняжка еще не знала, что такое разлука и одиночество, и смотрела на сборы других в дорогу с любопытством новичка. Правда, ей иногда делалось завидно, что ее братья и сестры так весело собираются к отлету, что они будут опять где-то там, далеко-далеко, где не бывает зимы.

— Ведь вы весной вернетесь? — спрашивает Серушка у матери.

— Да, да, вернемся, моя дорогая... И опять будем жить все вместе.

Для утешения начинавшей задумываться Серушки мать рассказала ей несколько таких же случаев, когда утки оставались на зиму. Она была лично знакома с двумя такими парами.

— Как-нибудь, милая, пробьешься, — успокаивала старая Утка. —

Сначала поскучаешь, а потом привыкнешь. Если бы можно было тебя перенести на теплый ключ, что и зимой не замерзает, — совсем было бы хорошо. Это недалеко отсюда... Впрочем, что же и говорить-то попусту, все равно нам не перенести тебя туда!

— Я буду все время думать о вас... — повторяла бедная Серушка. — Все буду думать: где вы, что вы делаете, весело ли вам?... Все равно и будет, точно и я с вами вместе.

Старой Утке нужно было собрать все силы, чтобы не выдать своего отчаяния. Она старалась казаться веселой и плакала потихоньку ото всех. Ах, как ей было жаль милой, бедненькой Серушки... Других детей она теперь почти не замечала и не обращала на них внимания, и ей казалось, что она даже совсем их не любит.

А как быстро летело время!.. Был уже целый ряд холодных утренников, а от инея пожелтели березки и покраснели осины. Вода в реке потемнела, и самая река казалась больше, потому что берега оголели, — береговая поросль быстро теряла листву. Холодный осенний ветер обрывал засыхавшие листья и уносил их. Небо часто покрывалось тяжелыми осенними облаками, ронявшими мелкий осенний дождь. Вообще хорошего было мало, и который день уже неслись мимо стаи перелетной птицы... Первыми тронулись болотные птицы, потому что болота уже начинали замерзать. Дольше всех оставались водоплавающие.

Серушку больше всего огорчал перелет журавлей, потому что они так жалобно курлыкали, точно звали ее с собой. У нее еще в первый раз сжалось сердце от какого-то тайного предчувствия, и она долго провожала глазами уносившуюся в небе журавлиную стаю.

„Как им должно быть хорошо“, думала Серушка. Утки, хитмырлоп-воп Лебеди, гуси и утки тоже начинали готовиться к отлету. Отдельные гнезда соединялись в большие стаи. Старые и бывалые птицы учили молодых. Каждое утро эта молодежь с веселым криком делала большие прогулки, чтобы укрепить крылья для далекого перелета. Умные вожаки сначала обучали отдельные партии, а потом всех вместе. Сколько было крика, молодого веселья и радости!.. Одна Серушка не могла принимать участия в этих прогулках и любовалась ими только издали. Что делать, приходилось мириться со своей судьбой. Зато как она плавала, как ныряла! Вода для нее составляла все.

— Нужно отправляться... пора! — говорили старики-вожаки. — Что нам здесь ждать?

А время летело, быстро летело... Наступил и роковой день. Вся стая сбилась в одну живую кучу на реке. Это было ранним осенним утром, когда вода еще была покрыта густым туманом. Утиный косяк сбился из трехсот штук. Слышно было только криканье главных вожаков. Старая Утка не спала всю ночь: это была последняя ночь, которую она проводила вместе с Серушкой.

— Ты держись вон около того берега, где в реку сбегает ключик, — советовала она. — Там вода не замерзнет целую зиму.

Серушка держалась в стороне от косяка, как чужая... Да, все были так заняты общим отлетом, что на нее никто не обращал внимания.

У старой Утки изболелось все сердце, глядя на бедную Серушку. Несколько раз она решала про себя, что останется; но как останешься, когда есть другие дети и нужно лететь вместе с косяком?

— Ну, трогай! — громко скомандовал главный вожак, и стая поднялась разом вверх.

Серушка осталась на реке одна и долго провожала глазами улетающий косяк. Сначала все летели одной живой кучей, а потом вытянулись в правильный треугольник и скрылись.

„Неужели я совсем одна? — думала Серушка, заливаясь слезами. — Лучше бы было, если бы тогда Лиса меня съела...“

III

Река, на которой осталась Серушка, весело катилась в горах, покрытых густым лесом. Место было глухое, и никакого жилья кругом. По утрам вода у берегов начинала замерзать, а днем тонкий, как стекло, лед таял.

„Неужели вся река замерзнет?“ думала Серушка с ужасом.

Скучно ей было одной, и она все думала про своих улетевших братьев и сестер. Где-то они сейчас? Благополучно ли долетели? Вспоминают ли про нее? Времени было достаточно, чтобы подумать обо всем. Узнала она и одиночество. Река была пуста, и жизнь сохранялась только в лесу, где посвистывали рябчики, прыгали белки и зайцы.

Раз со скуки Серушка забралась в лес и страшно перепугалась, когда из-под куста кубарем вылетел Заяц.

— Ах, как ты меня напугала, глупая! — проговорил Заяц, не

много успокоившись. — Душа в пятки ушла. И зачем ты толчешься здесь? Ведь все утки давно улетели...

— Я не могу летать: Лиса мне крылышко перекусила, когда я еще была совсем маленькой.

— Уж эта мне Лиса! Нет хуже зверя. Она и до меня давно добирается. Ты берегись ее, особенно когда река покроется льдом. Как раз сцапает.

Они познакомились. Заяц был такой же беззащитный, как и Серушка, и спасал свою жизнь постоянным бегством.

— Если бы мне крылья, как птице, так я бы, кажется, никого на свете не боялся! У тебя вот хоть и крыльев нет, так зато ты плавать умеешь, а не то возьмешь и нырнешь в воду, — говорил он. — А я постоянно дрожу со страху... У меня кругом враги. Летом еще можно спрятаться куда-нибудь, а зимой все видно.

Скоро выпал и первый снег, а река все еще не поддавалась холоду. Все, что замерзало по ночам, вода разбивала. Борьба шла не на живот, а на смерть. Всего опаснее были ясные, звездные ночи, когда все затихало и на реке не было волн. Река точно засыпала, и холод старался сковать ее льдом сонную.

Так и случилось.

Была тихая-тихая звездная ночь. Тихо стоял темный лес на берегу, точно стража из великанов. Горы казались выше, как это бывает ночью. Высокий месяц обливал все своим трепетным, искрившимся светом.

Бурлившая днем горная река присмирела, и к ней тихо-тихо подкрался холод, крепко-крепко обнял гордую, непокорную красавицу и точно прикрыл ее зеркальным стеклом.

Серушка была в отчаянии, потому что не замерзла только самая середина реки, где образовалась широкая полынья. Свободного места, где можно было плавать, оставалось не больше пятнадцати сажен. Огорчение Серушки дошло до последней степени, когда на берегу показалась Лиса, — это была та самая Лиса, которая переломила ей крыло.

— А, старая знакомая, здравствуй! — ласково проговорила Лиса, останавливаясь на берегу. — Давненько не видались... Поздравляю с зимой.

— Уходи, пожалуйста, я совсем не хочу с тобой разговаривать, — ответила Серушка.

— Это за мою-то ласку! Хороша же ты, нечего сказать! А, впро-

чем, про меня много лишнего говорят. Сами наделают что-нибудь, а потом на меня и свалят... Пока до свиданья.

Когда Лиса убралась, приковылял Заяц и сказал:

— Берегись, Серушка: она опять придет.

И Серушка тоже начала бояться, как боялся Заяц. Бедная даже не могла любоваться творившимися кругом нее чудесами. Наступала уже настоящая зима. Земля была покрыта белоснежным ковром. Не оставалось ни одного темного пятнышка. Даже голые березы, ольхи, ивы и рябины убрались инеем, точно серебристым пухом. А ели сделались еще важнее. Они стояли, засыпанные снегом, как будто надели дорогую теплую шубу.

Да, чудно, хорошо было кругом; а бедная Серушка знала только одно, что эта красота — не для нее, и трепетала при одной мысли, что ее полынья вот-вот замерзнет и ей некуда будет деться. Лиса, действительно, пришла через несколько дней, села на берегу и опять заговорила:

— Соскучилась я по тебе, уточка... Выходи сюда; а не хочешь, так я сама к тебе приду. Я не спесива.

И Лиса принялась ползти осторожно по льду к самой полынье. У Серушки замерло сердце. Но Лиса не могла подобраться к самой воде, потому что там лед был еще очень тонок. Она положила голову на передние лапки, облизнулась и проговорила:

— Какая ты глупая, уточка!.. Вылезай на лед! А впрочем, до свиданья! Я тороплюсь по своим делам...

Лиса начала приходить каждый день — проведать, не застыла ли полынья. Наступившие морозы делали свое дело. От большой полыньи оставалось всего одно окно в сажень величиной. Лед был крепкий, и Лиса садилась на самом краю. Бедная Серушка со страху ныряла в воду, а Лиса сидела и зло подсмеивалась над ней:

— Ничего, ныряй, а я тебя все равно съем... Выходи лучше сама.

Заяц видел с берега, что проделывала Лиса, и возмущался всем своим заячьим сердцем:

— Ах, какая бессовестная эта Лиса! Какая несчастная эта Серушка! Съест ее Лиса...

IV

По всей вероятности, Лиса и съела бы Серушку, когда полынья замерзла бы совсем, но случилось иначе. Заяц все видел своими собственными косыми глазами.

Дело было утром. Заяц выскочил из своего логовища покормиться и поиграть с другими зайцами. Мороз был здоровый, и зайцы грелись, поколачивая лапку о лапку. Хотя и холодно, а все-таки весело.

— Братцы, берегись!—крикнул кто-то.

Действительно, опасность была на носу. На опушке леса стоял сгорбленный старичок-охотник, который подкрался на лыжах совершенно неслышно и высматривал, которого бы зайца застрелить.

— Эх, теплая старухе шуба будет,—соображал он, выбирая самого крупного зайца.

Он даже прицелился из ружья, но зайцы его заметили и кинулись в лес, как сумасшедшие.

— Ах, лукавцы!—рассердился старичок.—Вот уж я вас... Того не понимают, глупые, что нельзя старухе без шубы. Не мерзнуть же ей... А вы Акинтича не обманете, сколько ни бегайте. Акинтич-то похитрей будет... А старуха Акинтичу вон как наказывала: „Ты смотри, старик, без шубы не приходи!“ А вы бегать...

Старичок пустился разыскивать зайцев по следам, но они рассыпались по лесу, как горох. Старичок порядком измучился, обругал лукавых зайцев и присел на берегу реки отдохнуть.

— Эх, старуха, старуха, убежала наша шуба!—думал он вслух.—Ну вот отдохну и пойду искать другую.

Сидит старичок, горюет, а тут, глядь, Лиса по реке ползет, — так и ползет, точно кошка.

— Ге, ге, вот так штука!—обрадовался старичок.—К старухиной-то шубе воротник сам ползет... Видно, пить захотела, а то, может, и рыбки вздумала половить.

Лиса, действительно, подползла к самой полынье, в которой плавала Серушка, и улеглась на льду.

Стариковские глаза видели плохо и из-за Лисы не замечали утки.

— Надо так ее застрелить, чтобы воротника не испортить,—соображал старик, прицеливаясь в Лису.—А то вот как старуха будет браниться, если воротник-то в дырках окажется. Тоже своя сноровка везде надобна, а без снасти и клопа не убьешь.

Старичок долго прицеливался, выбирая место в будущем воротнике. Наконец грянул выстрел. Сквозь дым от выстрела охотник видел, как что-то метнулось на льду, и со всех ног кинулся

к полынье. По дороге он два раза упал, а когда добежал до полыньи, то только развел руками: воротника как не бывало, а в полынье плавала одна перепуганная Серушка.

— Вот так штука! — ахнул старичок, разводя руками. — В первый раз вижу, как Лиса в утку обратилась. Ну, и хитер зверь!

— Дедушка, Лиса убежала, — объяснила Серушка.

— Убежала? Вот тебе, старуха, и воротник к шубе... Что же я теперь буду делать, а? Ну и грех вышел... А ты, глупая, зачем тут плаваешь?

— А я, дедушка, не могла улететь вместе с другими. У меня одно крылышко попорчено.

— Ах, глупая, глупая! Да ведь ты замерзнешь тут или Лиса тебя съест! Да...

Старик подумал-подумал, покачал головой и решил:

— А мы вот что с тобой сделаем: я тебя внучкам унесу. Вот-то обрадуются! А весной ты старухе яичек нанесешь да утяток выведешь. Так я говорю? Вот то-то, глупая.

Старичок добыл Серушку из полыньи и положил за пазуху.

„А старухе я ничего не скажу! — соображал он, направляясь домой. — Пусть ее шуба с воротником вместе еще погуляют в лесу. Главное — внучки вот как обрадуются...“

Зайцы все это видели и весело смеялись. Ничего, старуха и без шубы на печке не замерзнет.





СТАРЫЙ ВОРОБЕЙ

I

— Хозяин что-то замышляет, — заметил первым Петух, гордо выпячивая атласную грудь.

— А я знаю, что! — чиркнул с березы старый Воробей. — Ну-ка, догадайся, умная голова!.. Нет, лучше и не думай: все равно ничего не придумаешь.

Петух сделал вид, что не понял обидных слов, и, чтобы показать свое презрение дерзкому хвастунишке, громко захлопал крыльями, вытянув шею, и, страшно раскрыв клюв, пронзительно заорал свое единственное ку-ку-реку!

— Ах, глупый горлан...— смеялся старый Воробей, вздрагивая своим крошечным тельцем.— Сейчас видно, что ничего не понимает. Чили-чили!

А хозяин маленького домика, стоявшего на окраине города, действительно, был занят необыкновенным делом. Во-первых, он вынес из комнаты небольшой ящик с железной кровелькой. Потом достал из сарая длинный шест и начал прибивать к нему гвоздями принесенный ящик. Мальчик лет пяти внимательно наблюдал за каждым его движением.

— Отличная штука будет, Сережка!— весело говорил отец, вбивая последний гвоздь.— Настоящий дворец...

— А где скворцы, тятя?— спросил мальчик.

— А скворцы прилетят сами...

— Ага, скворечник!..— гаркнул Петух, прислушивавшийся к разговору.— Я так и знал!

— Ах, глупый, глупый!— засмеялся над ним старый Воробей.— Это мне квартиру готовят... да! Эй, старуха, смотри, какой нам домик сделали!

Воробиха была гораздо серьезнее мужа и отнеслась с недоверием к этим словам. Да и хозяин сам говорит о скворцах, значит, будет скворечник. Впрочем, спорить она не желала, потому что это было бесполезно: разве старого Воробья кто-нибудь переспорит? Он будет повторять свое без конца, а она совсем не хотела ссориться. Да и зачем ссориться, когда весеннее солнышко так ласково светит? Везде бегут весенние ручейки, и почки на березах уже совсем набухли и покраснели: вот-вот раскроются и выпустят каждая по зеленому листочку, такому мягкому, светленькому, душистому и точно покрытому лаком. Слава богу, зима прошла, и теперь всем наступает великая радость. Конечно, старый Воробей—страшный забияка и частенько обижает свою старуху; но в такие светлые весенние дни забываются даже семейные неприятности.

— Что же ты молчишь, моя старушка?— приставал к ней старый Воробей.— Будет нам жить под крышей: и темно, и ветром продувает, и вообще неудобно. Признаться сказать, я давно думаю переменить квартиру, да все как-то было некогда. Хорошо, что

хозяин сам догадался... Вот у кур есть курятник, у лошадей—стойло, у собаки—конура; а только я один должен был скитаться, где попало. Совесть стало хозяину, вот он и приготовил мне домишко... Отлично заживем, старушонка.

Весь двор был занят хозяйской работой; из конюшни выглядывала лошадиная голова, из конуры вылез мохнатый Волчок, и даже показался серый кот Васька, целые дни лежавший где-нибудь на солнышке. Все следили, что будет дальше.

— Эй, старый плут!—кричал старый Воробей, завидев своего главного врага, кота Ваську.—Ты зачем пожаловал сюда, дармоед? Теперь, брат, тебе меня не достать... да! Лови своих мышей да посматривай, как я заживу в своем домишке. Не все мне по морозу прыгать на одной ножке, а тебе лежать на печке...

— Что же, пожалуй, и так...—согласился Петух, тоже недолбильная кота Ваську.—Положим, что старый Воробей и хвастун, и забияка, и вор, но он все-таки не таскает цыплят.

Кончив свою работу, хозяин поднял шест со скворечником и прикрепил его к самому крепкому столбу ограды.

Скворечник был отличный: доски были пригнаны плотно, наверху—железная крышка, а сбоку прикреплена сухая березовая ветка, на которой так удобно было отдыхать. У маленького круглого оконца, через которое можно было влететь в скворечник, устроена была деревянная полочка,—тоже недурно отдохнуть.

— Живо, старуха, собирайся!—крикнул старый Воробей.—Ведь есть нахалы, которые сейчас готовы захватить чужой дом... Те же скворцы прилетят.

— А если нас оттуда выгонят?—заметила Воробиха.—Старое свое гнездо разорим, кто-нибудь его займет, а сами и останемся ни при чем... Да и хозяин про скворцов говорил.

— Ах, глупая, это он пошутил.

Не успел хозяин отойти от скворечника, чтобы полюбоваться своей работой издали, как старый Воробей уже был на железной кровельке. Весело чиликнув, он быстро юркнул в оконце, только хвостик мелькнул.

— Эге, да тут совсем отлично!—думал вслух старый Воробей, запутавшись в хлопьях кудели.—То-то моей старухе тепло будет, да и ребятишкам тоже... Не дует ниоткуда, дождем не мочит, и, главное, сам хозяин для меня устроил. Недурно... А зимой здесь—умирать не надо.

Взобравшись на самую верхушку скворечника, старый Воро-

бей весело распустил все перышки, повернулся во все стороны и крикнул:

— Это я, братцы! Милости просим к нам на новоселье.

— Ах, разбойник!—обругал его хозяин снизу.—Уж успел забраться. погоди, брат, вот прилетят скворцы, они тебе зададут...

Маленький Сережка был ужасно огорчен, что в скворечнике поселился самый обыкновенный воробей.

— Ты каждое утро смотри,—учил его отец.—На днях должны прилететь наши скворцы.

— Будет шутить, хозяин!—кричал старый Воробей сверху.— Меня-то не проведешь... А скворцам мы и сами зададим жару-пару.

II

Старый Воробей расположился в скворечнике по-домашнему, как и следует семейной птице. Из старого гнезда был перетащен пух и все, что только можно было утащить.

— А теперь пусть в нем живут племянники,—решил старый Воробей со свойственным ему великодушием.—Я всегда готов отдать родственникам последнее... Пусть живут да меня, старика, добром поминают.

— Тоже расщедрился!—смеялись другие воробьи.—Подарил племянникам какую-то щель... Вот уж посмотрим, как самого погонят из скворечника, так куда тогда денется?

Все это говорилось, конечно, из зависти, и Старый Воробей только посмеивался: пусть их поговорят. О, это был опытный, старый Воробей, выдавший виды... Сидя в своем теплом гнезде, теперь он с удовольствием вспоминал о разных неудачах своей жизни. Раз чуть не сгорел, забравшись погреться в трубу, в другой—чуть не утонул, потом замерзал, потом совсем было попался в бархатные лапки старого плута Васьки и чуть живой вырвался,—э, да мало ли невзгод и горя он перенес!..

— Пора и отдохнуть,—рассуждал он громко, взобравшись на крышу своего нового домика.—Я—заслуженный воробей... Молодые-то пусть поучатся, как нужно на свете жить.

Как ни смешно было нахальство старого Воробья, но к нему все привыкли и даже стали верить, что действительно скворечник поставлен именно для старого Воробья. Теперь все ждали только того решительного дня, когда прилетят скворцы,—что-то тогда будет делать старик, забравшийся в чужое гнездо?

— Что такое скворцы?—рассуждал велух старый Воробей.— Глухая птица, которая неизвестно зачем перелетает с одного места на другое. Вот наш Петух тоже не умен, но зато и сидит дома; а потом из него сварят суп... Я хочу сказать, что глупый Петух хоть на суп годен, а скворцы—никуда; прилетят, как шальные, вертятся, стрекочут... Тьфу! Смотреть неприятно.

— Скворцы поют... — заметил Волчок, которому порядочно-таки надоело слушать эту воробьиную болтовню.—А ты только умеешь воровать.

— Поют? Это называется петь?—изумился старый Воробей.— Ха-ха!.. Нет, уж извините, господа, про себя говорить нехорошо, а между тем я должен сказать, что если кто действительно поет, так это я... Да! И я постоянно пою, с утра до ночи, пою целую жизнь... Вот послушайте: чили-чили-чилик!.. Хорошо, не правда ли? Меня все слушают...

— Будет тебе, старый шут!

Скворечник оказался очень хорошей квартирой. Главное — все видно сверху. Только вынесут корм курам, а старый Воробей уже поспел раньше всех; сам наестся и своей Воробихе зернышко снесет. Он даже успевал украсть малую толику у Волчка, пока тот вылезал из своей конуры. И везде так. Шныряет под ногами у кур, заберется в кормушку к лошади, даже в комнаты забирался не раз,—прожорливости и нахальству старого Воробья не было границ. Мало этого, он успевал побывать и на чужих дворах и там урвать что-нибудь из съестного. Везде лезет, везде ему было дело, и никого знать не хочет.

Наступил март. Дни стояли теплые, светлые. Снег везде почернел, присел, пропитался водой и сделался таким рыхлым, точно его изъели черви. Ветви у берез покраснели и набухли от приливавших соков. Весна подступала все больше. Иногда пахнет таким теплым ветерком, что даже у старого Воробья захолонет сердце. Жутко-хорошо в такую пору.

Маленький Сережка, как только просыпался утром, сейчас же лез к окну посмотреть, не прилетели ли скворцы. Но день проходил за днем, а скворцов все не было.

— Тятя, на скворечнике все этот воробей сидит,—жаловался Сережка отцу.

— Погоди, отойдет ему честь. Грачи вчера прилетели. Значит, скоро будут и наши скворцы.

Действительно, соседний барский сад был усеян черными

точками, точно живой сеткой: это были первые весенние гости, прилетевшие с далекого теплого юга. Они поднимали такой гвалт, что слышно было за несколько улиц,—настоящая ярмарка. Галдят, летают, осматривают старые гнезда и кричат без конца.

— Ну, старуха, теперь держись!—шептал старый Воробей своей Воробьихе еще с вечера.—Утром полетят скворцы... Я им задам, вот увидишь. Я ведь никого не трогаю, и меня не тронь. Знай всяк сверчок свой шесток!

Целую ночь не спал старик и все сторожил. Но особенного ничего не случилось. Перед утром пролетела небольшая стайка зябликов. Птички смирные: отдохнули, посидели на березах и полетели дальше. Они торопились в лес. За ними показались трясогузки,—эти еще скромнее. Ходят по дорогам, хвостиками покачивают и никого не трогают. Они—лесные птички, и старый Воробей был даже рад их видеть. Нашлись прошлогодние знакомые.

— Что, братцы, далеко летали?

— Ах как далеко!.. А здесь холодно было зимой?

— Ах как холодно!..

— Ну, прощай, Воробушко! Нам некогда.

Утро было такое холодное, а в скворечнике так тепло, да и Воробьиха спит сладко-сладко. Чуть-чуть прикорнул старый Воробей, кажется, не успел и глаз сомкнуть, как на скворечник налетела первая стайка скворцов. Быстро они летели, так что воздух свистел. Облепили скворечник и подняли такой гам, что старый Воробей даже испугался.

— Эй, ты, вылезай!—кричал Скворец, просовывая голову в оконце.—Ну, ну, пошевеливайся поскорей!..

— А ты кто такой? Я здесь хозяин... Проваливай дальше, а то ведь я шутить не люблю...

— Ты еще разговариваешь, нахал?

Что произошло дальше, страшно и рассказывать: разведчик Скворец очутился в скворечнике, схватил Воробьиху за шиворот своим длинным, как шило, клювом и вытолкнул в окно.

— Батюшки, караул!—благим матом орал старый Воробей, забившись в угол и отчаянно защищаясь.—Грабят... Караул!.. Ой, батюшки, убили...

Как он ни упирался, как ни дрался, как ни орал, а в конце концов с позором был вытолкнут из скворечника.

Это было ужасное утро. В первую минуту старый Воробей даже не мог сообразить хорошенько, как это случилось... Нет, это возмутительно, как вы хотите! Но и с этим можно было помириться: ну, забрался в чужой скворечник, ну, вытолкали, — только и всего. Если бы старому Воробью такое же шило вместо клюва дать, как у Скворца, так он всякого бы вытолкал. Главное — стыдно... Да. Вот уж это скверно, когда захвастаешься, накричишь, наболтаешь, — ах, как скверно!

— Напугал же ты скворцов! — кричал ему со двора Петух. — Я хоть и в суп попаду, да у меня свое гнездо есть, а ты попрыгай на одной ножке... Трещотка проклятая!.. Так тебе и надо... — А ты чему обрадовался? — ругался старый Воробей. — погоди, я тебе покажу... Я сам бросил скворечник: велик он мне, да и дует из щелей.

Бедная Воробиха сидела на крыше такая жалкая и убитая, и это еще больше разозлило старого Воробья. Он подлетел к ней и больно клюнул ее в голову.

— Что ты сидишь? Только меня срамишь. Возьмем старое гнездо, и делу конец. А со скворцами я еще рассчитаюсь...

Но племянники, устроившись в гнезде, не хотели его отдавать ни за что. Подняли крик, шум и в заключение вытолкнули старого дядюшку.

Это было похуже скворцов: свои же родные в шею гонят, а уж он ли, кажется, не старался для них! Вот и делай добро кому-нибудь...

Воробиху прибил ни за что, гнездо потерял, а сам на крыше остался с семейством — как раз налетит ястреб и разорвет в клочья.

Пригорюнился старый Воробей, присел на конек крыши отдохнуть и тяжело вздохнул. Эх, тяжело жить на свете серьезной птице!

— Как же мы теперь жить будем? — жалобно повторяла Воробиха. — У всех есть свои гнезда... Скоро детей будут выводить, а мы так, видно, на крыше и останемся.

— погоди, старуха, устроимся.

А главная обида была еще впереди. Выбежал на двор маленький Серезка, захлопал ручонками от радости, что прилетели скворцы, и не мог на них налюбоваться. Отец тоже любовался и говорил:

— Посмотри, какие они красивые: точно шелковые. А как заливаются-поют! Веселенькая птичка...

— А где же воробей, тятя, который жил в скворечнике? Да вон он на крыше сидит... У, как смешно нахохлился!

— Да он всегда какой-то встрепанный. Что, брат, не любишь?— обратился отец к Воробью и весело засмеялся.—Ну, вперед наука: не забирайся, куда не следует. Не для тебя скворечник строили.

Даже куры, и те смеялись теперь над несчастным старым Воробьем. Вот до чего дожил старик!.. Он даже заплакал с горя, а потом пришел в себя и ободрился.

— Над чем вы смеетесь?—гордо спросил он всех.—Ну, над чем?.. Сделал ошибку, это правда; а все-таки умнее вас... А главное-то—я вольная птица. Да... И живу, чем бог послал, а кланяться в люди не пойду. Куда бы вы все делись, если бы хозяин вас не кормил и не поил? И ты, Волчок, издох бы с голода, и ты, глупая птица Петух,—тоже, и лошадь, и корова; а я сам прокормлю свою голову. Да... Вот я какой!.. И теперь поправлю свою беду, дайте срок... А те зернышки, которые я собираю иногда на дворе около вас, тоже заработаны мной. Кто ловит мошек? Кто выкапывает червячков, ищет гусениц, всяких козявок? Да все я же, я...

— Знаем мы, как ты червячков ищешь,—заметил Петух, подмигнув скворцам.—Вот в огородах гряды вскопают, насадят гороху и бобов,—воробьи и налетят. Все разроют, а горох и бобы съедят. Воровством живешь, Воробушко, признайся.

— Воровством? Я?..—возмутился старый воробей.—Да я—первый друг человека... Мы всегда вместе, как и следует друзьям; где они, там и я. Да... И притом я—совершенно бескорыстный друг. Разве наш хозяин когда-нибудь бросил мне горсточку овса?.. Да мне и не нужно... Конечно, обидно, когда прилетят какие-то вертопрахи и им начинают оказывать всякий почет. Это, наконец, просто несправедливо... А вы даже этого не понимаете, потому что один—целую жизнь в оглоблях, другой—на цепи, третий в курятнике сидит... Я—вольная птица и живу здесь по собственному желанию.

Много говорил старый Воробей, возмущенный коварством своего друга—человека. А потом вдруг исчез... Нет старого Воробья день, нет два, нет три дня.

— Он, вероятно, издох с горя,—решил Петух.—Самая вздорная птица, если разобрать.

Прошла целая неделя. Однажды утром старый Воробей опять появился на крыше—такой веселый и довольный.

— Это я, братцы,—прочиликал он, принимая гордый вид.— Как поживаете?

— А, ты еще жив, старичок?

— Слава богу... Теперь на новой квартире поселился. Отличная квартира... Эту уж для меня хозяин устроил.

— Может быть, опять врешь?

— Ага, хотите, чтобы я указал ее вам? Нет, шалишь, теперь уж меня не проведешь... Пока прощайте!

Старый Воробей не врал. Он действительно устроился. На гряде в огороде стояло старое чучело. На палке болтались какие-то лохмотья, а сверху надета была старая большая шляпа,—в ней старый Воробей и устроил себе гнездо. Здесь уж никто его не тронет, потому что не догадается никто, да и побоятся страшного чучела.

Но эта затея кончилась очень печально. Воробиха высидела маленьких птенчиков в шляпе, а тут дунул вихрь и унес шляпу вместе с воробьиным гнездом. Старый Воробей улетал в это время по своим делам, а когда вернулся домой, то нашел только мертвых птенчиков и убивавшуюся с горя Воробиху. Впрочем, она недолго пережила своих деток. Перестала есть, худела и, нахохлившись, неподвижно сидела где-нибудь на ветке целые дни. Так она и умерла с горя... Ах, как тосковал по ней старый Воробей, как убивался и плакал!..

Наступила поздняя осень. Все перелетные птицы уже отправились на теплый юг. Старый Воробей один поселился в пустом скворечнике. Он скверно себя чувствовал и почти совсем не чиликал. Когда выпал первый снег и маленький Сережка выбежал на двор с саночками, то первое, что он увидел на ослепительно-белом снегу, был маленький трупик старого Воробья. Бедняга замерз.

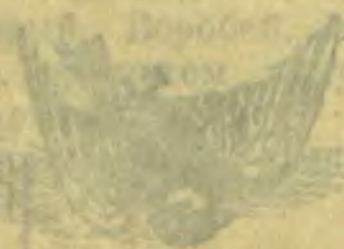
— А ведь жаль его,—бормогал Петух глубокомысленно.— Как будто и недостает чего-то... Бывало все чиликает, везде вертится, ко всем лезет! Даже скучно стало на дворе без старого Воробья,



ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
г. Свердловск

СОДЕРЖАНИЕ

Емеля-охотник	3
Зимовье на Студеной	11
Богач и Еремка	25
Приемыш (Из рассказов старого охотника)	40
Медведко	49
На пути (Из рассказов старого охотника)	55
Лесная сказка	62
Сéрушка	74
Старый воробей	83



ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА





402

Цена 4 руб.

1 р. 80 к.